

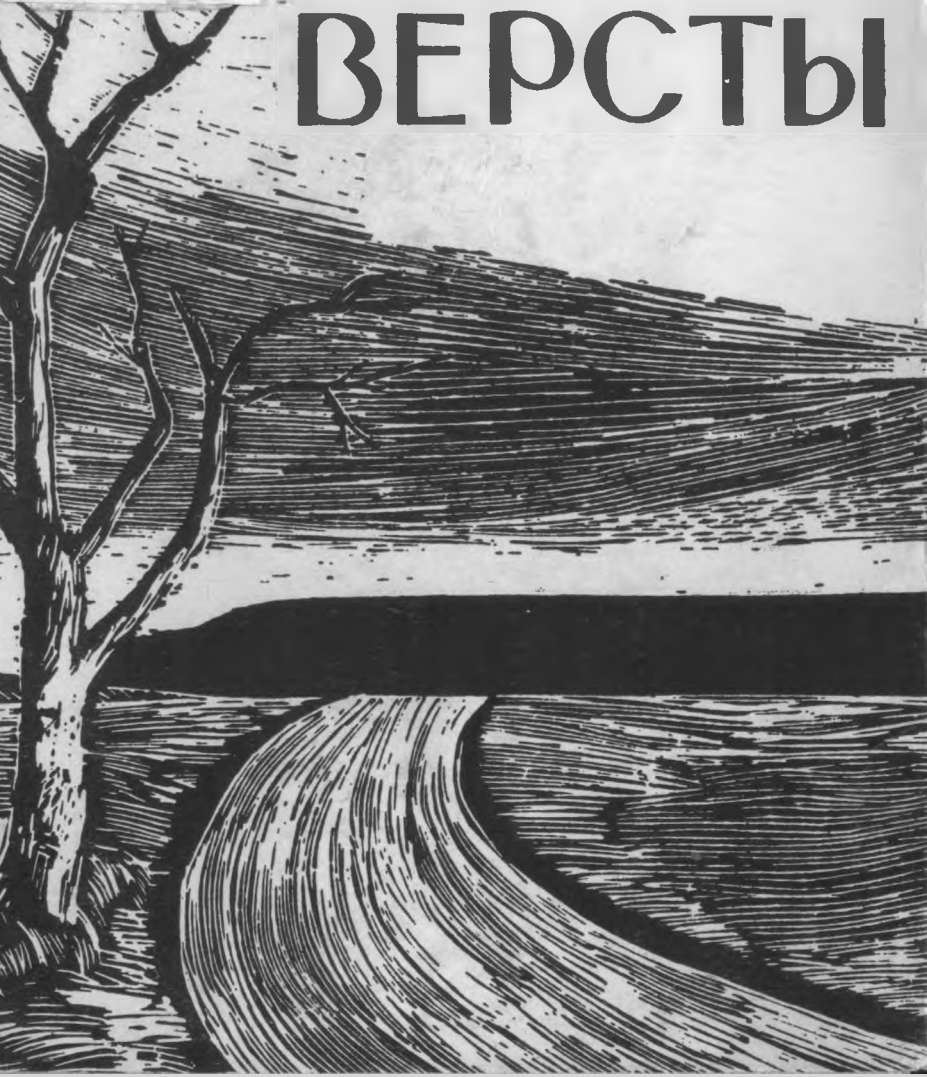
М 73423

Р 2

К-31

ИВАН КАШПУРОВ

ВЕРСТЫ



Р2
к31

И В А Н
К А Ш П У Р О В

ВЕРСТЫ

С Т И Х И
И П О Э М Ы

⇒ М73423
К 7

КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
СТАВРОПОЛЬ · 1967

✓
Запорізька обласна
БІБЛІОТЕКА
ІМ. М. ГОРЬКОГО

ПЕРЕВІРЕНО

ПЕРЕВІРЕНО

Знакомы мне таврические степи,
и барражи непуганых орлов.
Там ветер дунет — и по травам — трепет
и сполохи немислимых цветов.

На Черных землях пил я запах мая,
а в Кулунде безмежью — синеву...
Я с детских лет, что книгу, степь читаю,
до сотни букв-травинки назову.

И вот идут в стихи мои то брица,
то деревей, то донников кусты,
и ветер проиюленный ложится
валками строк на белые листы.

Но в шумах трав ловлю я осторожный
распев овсов, где степь была юна,
и вижу, как шагреневою кожей
с годами уменьшается она.

Наверно, близок день тот неприметный,
когда, круша степную тишину,
возьмутся люди и на всей планете
последнюю распашут целину.

И будут на земле моря да реки,
хребтов гранитность да полей размах.
А степи, что еще в двадцатом веке
я смог увидеть, — будут лишь в стихах.

И может, кто-то, перебрав до тыщи
забытых книг, отправленных на склад,
случайно томик тонкий мой отыщет
и, сдунув пыль, откроет наугад.

**В лицо повеет незнакомый ветер
неведомыми запахами трав.
Степь оживет в люминесцентном свете,
страницы пожелтевшие поправ.**

**И человек за строфами, возможно,
увидит разнотравья кутерьму
и, верно, позавидует мне тоже,
как нынче я завидую ему.**





СУРОВАЯ ПАМЯТЬ

Мне песен колыбельных мать не пела
и сказок не рассказывала мне,
она гоняла по Кубани белых,
в походах засыпала на коне.

Где Жизнь и Смерть
сшибались в лавах конных,
летела мать, привстав на стремях.

Страну и сына — двух новорожденных —
собой спешила заслонить она.

И был мне песней грозный отзвук боя,
была мне сказкой буйная метель.
Меня ласкало солнце молодсе,
ветра качали тихо колыбель.

Я по весне рос вместе с чернобылом,
я обгонял кустарник под горой.
Меня земля заботой окружила —
навек стала матерью второй.

Но чтобы мир мой детский не был тесен,
чтоб я счастливым был в родной стране,
мне мать не пела колыбельных песен —
Отчизну завоевывала мне.

1958 г.



...И начались осенние дожди.
Промокший ветер тяжело вздыхает,
угрюмые раскачивая вязы.
Они к окну протягивают руки
и пальцами озябшими тихонько
царапают заплаканные стекла.
Из комнаты, залитой мягким светом,
я их не вижу в темноте промозглой,
но слышу, как раздетые деревья
глухие стекла трогают смущенно.
Приходит мысль:
раскрыть окно пошире
и, взяв за руки, втаскивать в квартиру
иззябшие доверчивые вязы...
Но остаются на дворе деревья
и липкий дождь без краю — на дворе.
А я сегодня так хочу апреля!
С ним связаны мои воспоминанья
и упованья добрые мои.
Сейчас, когда ко мне стучатся вязы,
апрель идет вдоль южных параллелей
по смуглокожим африканским странам,
где кровь Лумумбы ждет еще отмщенья.
Он будит землю, умывает землю
веселыми безгрозыми дождями.
Апрель идет и голубые очи
фиалкам удивленным открывает...
Мне кажется, я доказать сумел бы,
что именно в апреле, да, в апреле
становятся щедрей и мягче люди.

...Шевелятся во мне воспоминанья.
Бежит состав, глотая километры.
Навстречу синий сыроватый ветер

И станции разбитые — навстречу.
На свежих досках,
жестких и душистых,
укутавшись в холодные шинели
зеленого английского сукна,
лежат солдаты сабельного взвода.
А я им вслух,
под четкий ритм колесный,
стихи Демьяна Бедного читаю.
В моем воображенье оживают
уверенные образы поэта:
вот улицы булыжные Симбирска —
пролетки, фонари, городовые;
вот тяжело раскачивает Волга
медлительные дремлющие баржи,
и все кругом обыденно, обычно.
Лишь солнце, удивительное солнце
слепящими потоками апреля
по всей земле берестяной России
течет, сияет, словно знаменуя
рождение Судьбы ее и Славы,
рождение Ульянова Володи...
В тот день, пожалуй, только солнце знало,
что в мир пришел не просто — человек,
но Человек, который будет нужен
земле и людям, странам и векам...
Я том стихов за голенище прячу,
закуриваю и смотрю в окно.
Пронесятся сквозные перелески,
где, рваной сталью мечены, деревья
стоят в зеленом искровье апреля.
Но вот мелькнул какой-то полустанок —
и врезалось мне в сердце навсегда:
на черном фоне выжженной деревни
стояла опаленная черешня!
Она цвела одна средь пепелища,
одна цвела на празднике апреля...
А впереди, на незнакомой Шпрее,
волной последней закипала ярость
четыре года длившегося боя,
и в воздухе уже победой пахло.
Но чем нетерпеливее мы были —
тем медленнее двигался состав наш.

Вот он вошел балладой в царство Мая,
потом остановился вдруг в Полтаве —
и мы узнали:
кончилась война!
Нас обнимали матери чужие,
чужие целовали нас невесты —
весь древний город чествовал «героев»,
а мы ведь боя — близко не видали.
Но пьяная от радости Полтава
об этом слушать даже не хотела.
Так для меня, безусого солдата,
негаданно окончилась война...

И вновь бегут вперед воспоминанья,
легко бегут дорогой проторенной.
(Ведь я сначала сам по ней прошел).
Апрель пятидесятого, ты помнишь,
скажи, меня ты помнишь хоть немного?
Скажи, глаза какие у меня?
Молчишь, апрель?

Ну, ничего.

Бывает.

Ты старше стал на десять с лишним лет
и чем-то мне напомнил белый Ставрополь,
и друга Жору, да, Шевцова Жору,
что и сейчас живет на Первомайской,
на улице, забытой горсоветом.

Он часто пишет по ночам стихи
о Черных землях, чабанах и овцах...

Но подожди, апрель, я не об этом.

Тогда и я намного был моложе.

Спешил с утра в пединститут, а ночью —
я разгружал вагоны и платформы.

И, кажется, мне было много легче
таскать мешки с цементом,
чем запомнить,

где пишут юс большой, где пишут малый.

Так день за днем.

И только в воскресенье

я отсыпался за неделю сразу

и шел в горсад, на главную аллею.

Я наблюдал, подставив солнцу щеки,
как разжимали добрые каштаны

тугие кулаки широких листьев;
я наблюдал, как согревалось небо,
апрельской синевою наливаясь;
я наблюдал...

Вдруг на мою скамейку
бесцеремонно опустилась песня.
На песне было ситцевое платье,
у песни косы льющиеся были
и черных глаз миндалины большие.
Их взгляд прошелся по моим каштанам,
скользнул по небу моего апреля
и встретился с моим смущенным взглядом.
Назвалась песня — Юлей.

Это имя

на все лады в душе моей звучало
и окрыляло смелые надежды.
Потом каштаны к нам двоим привыкли,
доверчивыми стали и ручными.
Они встречали нас в ночную пору,
держа цветов подсвечники высоко.
Мы тихо шли заре своей навстречу,
мы шли всю ночь,
и на каштанах свечи
всю ночь холодным пламенем дрожали.
Но это было много позже.

В мае...

Строка к строке ложится на бумагу.
Хочу я вспомнить все свои апрели.
Я мысленно построил их шеренгой
(их тридцать пять),
скомандовал им — смирно! —
и, проходя вдоль строя, я заметил,
что есть апрели, мной совсем забыты,
они, как дым, растаяли вдали.
Но есть апрели —
я в лицо их знаю, —
которые стихами стали, бронзой,
веселыми полями целины.
Вот над Землею отшумел недавно
один из потрясающих апрелей.
А начинался он совсем обычно,
как тысяча, как две ему подобных.
В земле, прогретой солнцем, шла работа,

и брызгали навстречу солнцу травы
колючими зелеными лучами.
А в теплом небе пролегли дороги,
и стаи птиц весенних, гомонливых
плетут весь день и радостно, и звонко
немыслимые кружева апреля.
Я ухожу от надоевших комнат
в поля,
навстречу журавлиным кликам,
навстречу ветру голубому, рощам,
чтоб насладиться вволю настоящей,
волнующей,
врачующей весной.
А надо мной,
в бескрайнем царстве солнца,
большие птицы шумными путями
летят, летят к своим родным гнездовьям...
Но тут над вечным торжеством апреля
мечты людской взметнулось торжество:
преодолев земное притяженье,
корабль уносит в космос человека.
И вся планета по слогам,
как в школе,
заучивает имя космонавта.

Двадцатый век.
Легендой ставший месяц,
ты на виду у всей Земли весенней
под звон литавр
вошел в свое бессмертье.
Но я другой апрель сегодня вспомнил.

То был апрель семнадцатого года.
Броневики.
Прожекторы.
Матросы.
На площадь у Финляндского вокзала
пришел весь Питер Ленина встречать.
И вот Ильич на броневик поднялся,
окинул взглядом человечесьё море
и начал окрыляющую речь.
В сердца людей уверенность входила,
от ясных слов яснили Завтра дали,

где зрел уже октябрьский ветер гнева
и бури очистительной порыв...
Еще тогда, знакомо вскинув руку,
он показал России возбужденной
вот этот, наш, блистательный апрель...
Мне кажется, я доказать сумел бы,
что именно в апреле, да, в апреле,
становятся щедрей и мягче люди...

Сейчас, когда ко мне стучатся вязы,
по мостовой гоняет ветер листья
и на столбах качает фонари.
Перед моим окном столпились звезды,
большие звезды города большого.
Их не потушит подгулявший ветер,
их не зальет дождем тягучим осень.
На эти звезды я смотрю с надеждой:
они мечте дорогу освещают,
моей мечте, уверенно летящей
туда, вперед, где молодо и ярко
сплошной апрель землю править будет,
где наше солнце станет незакатным,
и будет имя солнцу —

Коммунизм.

Вот потому так хочется работать,
вот потому и сильным, и значительным
сегодня каждый чувствует себя.
Пусть во дворе осенняя погода.
Мы все равно устремлены к апрелю...
Апрель, апрель!
Ты очень нужный месяц —
Цветенье, обновленья кутерьма.
Апрель, апрель!
Недаром украинцы
тебя назвали самым светлым словом,
назвали нежно и певуче —
квитень.

1961 г.



Горстка пшеницы

Памяти рядового
Ивана Бессенного

Весна.
Зацветают хлеба на Кубани.
Товарищ домой не вернулся с войны.
Нес горстку пшеницы в нагрудном кармане,
а жизнь не донес до победной весны.

Согретые сердца последним биением,
зерна пшеницы жизнь обрели.
Зеленой семьей ранью весенней
упрямо пробилась они из земли.

И там, на равнине,
у польской столицы,
где степь удивительно в мае цветет,—
десяток колосьев кубанской пшеницы,
к земле наклоняясь, хозяина ждет.

Пройдет ли здесь пеший,
проедет ли конный —
каждый услышит среди трав поутру,
что зреющий колос над миром зеленым
протяжно и долго поет на ветру.

1958 г.



1

Знакомство с миром начиналось просто,
с картавого Семенова ключа...
Качалась в небе песня птахи пестрой
на яркой нитке майского луча.

Держал росинку золотистый лютик,
под тяжестью сгибаясь над ручьем.
А я смотрел: шли битым шляхом люди,
как ружья, косы вскинув на плечо.

И детство мчалось в годы ветровые.
Светила мне заря во весь накал,
когда с рожденья близкий мир впервые
осознанно я родиной назвал.

Но тут беды и юности начало.
Пускай стихи поведают о том,
как на земле усталость нас качала
и как война калила нас огнем.

2

Мне памятны Кавказские отроги
и ставропольский ветер на губах,
и трудные через войну дороги —
в снегах и минах, в ранах и горбах.

За громом битв четыре долгих года
не слышали мы шелеста травы.
Мы шли на фронт, мы шли в огонь и воду,
мы — молодежь годов сороковых.

В боях, где под высокие знамена,
на счастье миру добрый мир суля,
нас принимала Слава поименно,
а многих — безымянными — земля.

Нам было имя общее — солдаты,
и потому со всей родной земли
побед и поражений горьких даты,
как вехи, в нашу молодость вошли.

3

Таинственные звезды, не мигая,
спокойно свет негреющий свой льют.
А ветер, от снегов изнемогая,
свистит и плачет, холоден и лют.

На сотни верст родимый край завьюжен.
В крутых сугробах дали февраля.
До срока спит, не тронутая стужей,
моя жизнелюбивая земля.

Уж нет окопов.
Снегом запорошены
рубцы и шрамы отболевших ран.
О всех пропавших без вести запрошены
правительства больших и малых стран.

И вот подходит зрелости начало.
Пускай стихи поведают о том,
что в юность к нам война пришла сначала,
все остальное к нам пришло —
потом.

1960 г.



1

Я видел дуб.
Огромный дуб.
Над рыжей кручею Кубани
стоял он, гордый солнцелюб,
в осеннем ярком одеянье.

Гроза и буря сотни лет
его сломить пытались вместе.
А дуб — один! — шумит в ответ
листвой, штампованной из жести;

а дуб в волну, как поплавки,
без счета желуди бросает,—
и по течению реки
дубрав немало вырастает...

2

Я видел дуб.
Он сотни лет,
все глубже корни простирая,
держался крепко на земле,
макушкой небо подпирая.

Но вот в весенний свой разлив
река, хмелея ночью черной,
подмыла берег, оголив
витые жилистые корни.

На миг притихло все кругом,
и дуб огромный, ахнув глухо,
в корнях сжимая глины ком,
в Кубань разгневанную рухнул...

Я видел дуб.
Его река
несла, кружила без усилий.
А на обоих берегах
дубки — сыны его — столпились.

Они стоят к плечу плечо
в зеленых крапинках апреля.
Кубань задумчиво течет,
как будто вслушиваясь в трели...

Идет весна.
А с ней кругом
идет в природе обновленье.
Жизнь продолжается в живом,
в окрепшем,
новом поколеньи!

1956 г.



Звенел апрель и золотой капелью
отгранивал булыжников бока,
и в лужи окунались, как в купели,
веселые кудели-облака.
Земля пила настой лучей и влаги,
настой ветров певучих и тепла
и по утрам пьянела, как от браги,
и пахаря счастливого ждала.
Ей хорошо, под сказку солнца нежась,
лениво погружаться в забытье,
и только межи, вековые межи,
что струпья, беспокоили ее.
А пахари судили да рядили,
но к буккерам заржавленным не шли.
У них лишь руки собственными были,
но не было спокон веков земли.
А тут такое время подоспело,
что не поймешь — которые друзья.
Одни кричат:
— Берите землю смело!..
Другие:
— Нет, без выкупа нельзя.
Нельзя покуда большей дать поблажки.
Вот разгромим германца, а тогда...
На кой же черт прогнали Николашку,
коль вновь Россией правят господа?!
И табунами с митинга на митинг
сермяжные ходили мужики,
стараясь вникнуть в круговерть событий,
искали правду, сжавши кулаки.
Молва катилась:
правду знает Ленин.

Ее он рубит, матушку, сплеча...
И пахари, одетые в шинели,
по митингам искали Ильича.
Они пропахли порохом и потом
за три окопных года на сто лет.
С какой любовью и с какой охотой
их руки прикоснулись бы к земле!..
Бродили в почве молодые соки,
поля плугов просили и зерна.
Но проходили в ожиданье сроки
и отцветала вишнями весна.

2

Звенел апрель, катил зеленым валом
пространствами березовой страны.
Страна бурлила, на дыбы вставала
от Приамурья, сивых круч Урала
до улиц Петроградской стороны...
Ораторы менялись то и дело.
Летела штукатурка с потолка,
когда толпа неистово шумела
в манеже Гренадерского полка.
Луженые, прокуренные глотки
«Долой!» кричали — аж качался зал,
и господин в чужой косоворотке,
пенсне роняя, мигом исчезал.
И новый краснобай вставал на смену,
листками потрясал над головой.
Толпа стихала, слушала степенно,
затем взрывалась яростно:
— Долой!
В манеже нарастало нетерпенье,
срываясь кратковременным дождем.
— А где же Ленин?..
— Кто тут будет Ленин?..
— Наверно, не приедет...
— Подождем!..
И вдруг необычайно тихо стало,
лишь шепоток погуливал чуть-чуть.
— Приехал!..
— Вот он, вот!..

И расступалась
толпа,
пройти давая Ильичу.
Потом обвал сухой аплодисментов.
И сразу же, найдя живую нить,
он начал о текущем о моменте,
все больше увлекаясь, говорить.
Солдаты становились поплотнее,
трибуну брали медленно в кольцо,
как гусаки, вытягивали шеи,
стараясь разглядеть его в лицо.
Все ждали,
что про землю скажет Ленин,
и кто-то вдруг, не утерпев, спросил:
— А как с землей, какое ваше мнение?..
Ильич на голос быстрый взгляд скосил.
— А что с землей? — ответил он вопросом.
— Неясно что-то! — выкрикнул солдат.
— Неясно! Нет! — манеж многоголосый
заволновался.
— Разно говорят!..
Он подождал, когда утихнет масса,
и, шурясь чуть, спокойно произнес:
— Ну, а теперь внесем давайте ясность
в неясный, как вам кажется, вопрос.
И, объяснив,
в чем скрытый смысл стараний
всех болтунов и что они сулят,
он обратился к грозному собранию:
— Кому должна принадлежать земля?..
Тут, прорывая тишины запруду,
вскипел манеж, как в ярости река:
— Земля крестьянам!..
— Трудовому люду!..
— Без выкупа!..
— Без платы!..
— На века-а-а!!!
И, общий шум перекрывая, Ленин
возвысил голос:
— Мы, большевики,
единое имеем с вами мнение!..
И срезал фразу точный взмах руки.
И от оваций вздрогнула Россия,

Земля качнулась на своей оси.
Светило солнце
из бескрайней сини
Весне надежд,
идущей по Руси.

1963 г.



(Из Пьера Гамарра)

Голос могучий, голос из шахт,
сердце, ты разве не слышишь?
Новое слово ищи на устах,
чтоб песня взвивалась выше!
Славу для родины нашей ищи,
солнце ищи за тучей...
Мы в черную землю стучим, стучим —
руки усталость мучит.
Борьба начинается.
Песня, звучи,
чтоб тверже печатался шаг в такт,
Франции светлое небо ищи
в угольных темных шахтах!..
Весеннее солнце.
Долин синева.
Роза, пшеница, любая трава
корни пускает в землю сырую,
в землю, которая жизнь нам дарует
за то, что с надеждой копаем ее.
Встаньте же, люди, возьмите свое!
Война разгорается изо дня в день,
война за машины, за хлеб, за сирень.
Нас близит к победе за шагом шаг.
Но враг не разбит еще...
Тише!
Сердце, ты разве не слышишь
голос могучий, голос из шахт?!
Разве не слышишь безмолвие масс
в грозном безмолвье пластов?
Мы проклинаем на веки веков
тех, что стоят на коленях сейчас!

Мрак ослепительный.
Сильные люди
любят свой труд ради света над ним...
Сердце, да разве ты будешь глухим
к битве, гремящей повсюду?!
Кто там смиряется с рабской судьбою?
Кто там пугает всевышним творцом?
Франции светлой лицо —
в темных сырых забоях!

1965 г.



Большие годы и большое горе
согнули, но не смяли старика.
Всю ночь сидит Серебряков Григорий
с залистанною книгою в руках.

Мигает свет семилинейной лампы,
и вздрагивает тень во всю стену.
Седой старик, медлительный, как лама,
двадцатый год читает про войну.

В его жилье, холодном и угрюмом,
лишь сиротливо ходики стучат.
А как он ждал, когда веселым шумом
наполнят хату голоса внучат!

Не раз, бывало, намекал он сыну
о том, что свадьбу справить бы пора...
А сын Иван, кубанку на бок сдвинув,
с улыбочкой ходил на вечера.

И вдруг — война.
Она зловещим смерчем
опустошила улицы села.
И скоро извещения о смерти
по всей России почта понесла.

Беда не в двери постучалась — в сердце.
Глотая стон, отец письмо читал:
«Ваш сын Иван, в ночном бою у Керчи...—
и дальше — скупое — ...без вести пропал.»

С тех пор — один — живет старик Григорий
и чуда ждет, а чуда нет и нет,
и зарастает лебедой подворье,
и дряхнет сына праздничный жакет.

Пришли домой живые.
Запахали
следы войны — поля узнать нельзя.
И лишь пропавших без вести искали
правительства, родные и друзья.

Отец солдата в часть писал — солдатам,
министру обороны и в штабы.
Но скупно отвечали адресаты —
никто не знал Ивановой судьбы...

Однажды старику попалась книга.
И хоть давно закончилась война,
но ни минуты в книге той, ни мига
не затихала все еще она.

В той книге визг и скрежет рваной стали,
в дыму земля, деревни, города;
в той книге побеждали, умирали
и даже в плен сдавались иногда.

Старик сидел весь вечер над романом —
читал и думал думушку старик:
«А может быть, вот так и про Ивана
написано в какой-нибудь из книг?..»

И с той поры, надеждою согретый,
он собирает книги о войне.
Двадцатый год ночами, до рассвета,
не гаснет огонек в его окне.

По мемуарам, повестям, романам,
среди поэм, рассказов, дневников
он ищет сына, ищет он Ивана,
ему до дня Победы далеко.

1965 г.



Над Невинкою
не новинкою
стали трубы.

И не вчера
зацвели в полях,
под Невинкою,
размедовые клевера.

Здесь хлеба кругом
долу клонятся,
стонут яблони от плодов,
и несут ветра
топот конницы
через гребни крутых годов.

Облака вдали,—
как развешаны.
Я гляжу, гляжу с-под руки:
в дымном мареве
скачут бешено
кочубеевские полки.

Над кубанками,
словно молнии,
шашки вспыхивают зарей.
Казачи летят
степью вольною —
кони стелются над землей.

Много лет уже
не кончается
разъяренной погони вихрь.

В небе утреннем
звон качается,
звон подков
да удил стальных.

Враг скрывается
в желтых донниках,
рассыпается среди степей,
и ведет на бой
красных конников
молодой комбриг Кочубей...

А вдали, повит
летней дымкою,
просыпается городок,
и течет, течет
над Невинкою
размедовой зарей восток.

1966 г.



Нам было трудней «проходить» географию.
Привал,— как провал,
и, как выстрел,— подъем!
А ноги столбами гудят телеграфными
и с каждой саженью все круче подъем.

Нас ветер за полы хватает неистово,
стволы минометов сгибают в дугу,
и тучи над нами тяжелые, низкие,
сердито клубясь,
предвещают пургу.

Но где-то за тучами,
где-то за скалами
спешит от возмездия скрыться наш враг,
и четверо суток ногами усталыми
мы тропы считали в Карпатских горах.

Потом из-под неба
суровою карою
на головы недругам валимся мы..
И вот уж встречают нас женщины старые,
седые от горя и долгой зимы...

Наверно, родились мы с крепкими нервами:
под бомбами пишем на родину— «...жди!»
Но следом встают обелиски фанерные,
как скорбные вехи на ратном пути...

В боях непрерывных, в походах изучены
Чужие столицы, равнины, леса,
холодные скалы, речные излучины
и, смертью грозившие нам, небеса...

А нынче спросили б:
«Европу-то помните?..»
Глаза завязал бы я — ну-ка, с пути! —
и смог по Европе,
как ночью по комнате
своей,
не споткнувшись ни разу,
пройти.

1965 г.

22

Тогда не трогала нас жалость.
Он бил в меня, а я — в него.
Случайно пуля оказалась
моя вернее, чем его.

В одной из бомбовых воронок,
убитый фюрера во имя,
был торопливо похоронен
он сослуживцами своими.

И вот года прошли. Но ясно
я помню все: лесок, ручей
и на сырой могиле — каска,
пробита пулею моей...

Жалеть противника — нелепо.
Но... все же думаю теперь,
что двадцать лет чужое небо
его оплакивает смерть.

Его, быть может, гнали к Волге,
вели силком среди наших нив...
Стою и думаю, на холмик
цветы степные обронив.

О прошлом думать не легко мне...
Но если б я упал тогда,
то смог ли он через года
меня, как человека, вспомнить?
Не знаю. Кем он был, не знаю.

1965 г.



На Ставрополье, возле Александрова,
под Голубиной голубой горой,
колодец тот... Я от названья странного
никак не мог отделаться порой.

Среди степи, верстах в восьми от сельбища,
он вырыт был каким-то чудаком.
А нынче тут холстом дорога стелется,
и озимь наливается кругом.

Он так умело камнем диким выложен,
что путникам казалось иногда:
не камнями он выложен, а вылужен,
и оттого прозрачна в нем вода.

И люди в зной спешат к колодцу Вдовину
на лошадях, машинами, пешком
и черпают прохладу родниковую
рукой, цебаркой или лопушком.

«Им невдомек, наверно, этим путникам,
чего колодец «Вдовьим» наречен...»
Так думал я, помахивая прутиком,
бывальщиною грустной увлечен.

А мой отец спокойно и размеренно
рассказывает, снявши картузок,
и забываю понукать я мерина,
который еле тащит наш возок.

Я вижу, как ночами из-под Вологды,
в оврагах мрачных найдя приют,
от барщины, от холода, от голода
бежит семья крестьянская на юг.

Бежит семья туда, где степи вольные,
где землю вольно пашут казаки,
и в тесных ножнах часто бредят войнами
иззубренные звонкие клинки.

Я вижу, как станица злобно хмурится,
взирая на бездомных беглецов,
как на глазах у равнодушной улицы
скорбит семья над умершим отцом.

Я вижу, как, собрав пожитки жалкие,
вдова ведет в глухую степь детей,
где, кажется ей, даже волки жадные
намного сострадательней людей.

Никто не знает, как землянка выросла
под Голубиной голубой горой,
как среди степи вдова колодец вырыла,
и ключ пробился из земли сырой.

Не помнят люди, кто они, те первые,
что в жаркий день напильсь тут воды.
Но на века легла дорога серая,
где путники оставили следы.

Она бежит в район полями светлыми.
И вот десятки взмыленных годов
потомков казаков тех неприветливых
колодец щедро потчует водой.

Над ним в листве шумят ветра бедовые,
качая ветки молодых раки...
Давным-давно забыто имя вдовино,
а вот колодец Вдовин не забыт.

1964 г.

5/2

Памяти Лушникова Андрея Нефедовича,
Гладкова Андрея Фомича, Шабанова Ивана
Ефремовича, Масленникова Дорофея Егорови-
ча—борцов за утверждение Советов в с. Ка-
линовском, на Ставрополье, убитых кулаками-
бандитами в 1921 г. посвящается.

1

По воле или поневоле
жило в дали от всех дорог,
вдали от всех мирских тревог
мое село на Ставрополье.
...Дворы казацьи и мужичьи
друг друга ненавистью жгли.
В них жили разные обычаи,
поверья стерегли углы.
Одни дворы — от ветра пьяны,
там лебеда кругом росла,
и горе мыкали крестьяне —
голь перекатная села.
Другие — крепости.
Заборы из камня бутового в рост,
ворота взяты на запоры,
и дом надежно в землю врос —
стоял широк, приземист, мрачен,
чуть опираясь на крыльцо
и за кусты сирени пряча
троеоконное лицо.
Тут пост блюли до истощенья,
а после — жрали до икот.

Тут первачом дубили рот
и люто дрались на крещение.
Тут псов с цепи спускали рано
и свет гасили — все, мол, впрок,
чтоб ненароком гость нежданный
не заглянул на огонек.
А в церкви благочинно пели —
молился богу стар и мал,
и каждый с самой колыбели
три кратких заповеди знал:
«Ешь свой пирог,
знай свой порог,
и свой дворок».

2

Куда ни глянешь — в дымке синей
лишь степь да степь кругом видна.
Где начинается Россия
и где кончается она?
Что там, за дымным окоемом?
Никто в селе не знал о том.
Мир ограничивался домом,
своим гумном, своим скотом.
Все жили замкнуто и вяло,
не выезжая никуда,
и разве что в уезд бывало
кого-то заведет нужда.
Тут появлялись вести скоро,
будили сонное село,
и столько всяких разговоров
по тихим улицам велось!
Потом тускнела эта новость,
и жизнь входила в колею,
и, как улитка, каждый снова
в ракушку прятался свою...
Порой я думаю несмело,
а вдруг из моего села,
к стыду, пословица пошла:
«Своя рубаха — ближе к телу».
Веками здесь друг друга грызли,
«мое» склонял и стар и мал,

и до конца дремучей жизни
угрюмо каждый повторял:

«Ешь свой пирог,
знай свой порог
и свой дворок».

3

...А где-то клокотали страсти,
людская дыбилась волна.
А здесь незыблемо у власти —
урядник, поп да старшина.
Ветра безудержно метались,
взрывалась гневом тишина.
А здесь все также возвышались
урядник, поп да старшина.
Но вот из галицийских далей,
с полей, растерзанных войной,
в крестах солдатских и медалях
вернулись воины домой.
Они, в рубцах и страшных шрамах,
топтались хмуρο во дворе.
Они сходились вечерами
и расходились на заре.
В селе шептали: «Что за польза
ночами сиживать зазря?..»
Но только стали слухи ползать
о том, что сбросили царя,
что революция в России,—
кому, зачем она нужна?—
что не в чести теперь, не в силе
урядник, поп да старшина.
Потом из-за степи осенней
слова ветрами занесло:
«Большевики, Советы, Ленин...»
И загорланило село.
Кто победней, кричали: «Наше
на землю право, куркули!..»
А те в ответ: «Права-то ваши,
но хрен получите земли!..»
И под раскаты канонады
в ночь исчезали мужики.

Одни шли в красные отряды,
другие — в белые полки.
А третьи... Третьи выжидали:
чей будет верх, мол, тот и пан.
Они большевиков чуждались
и сторонились белых банд.
Они сидели тихо, скромно,
свой страх стараясь превозмочь,
и, крепко заповеди помня,
твердили их и день, и ночь:

«Ешь свой пирог,
знай свой порог,
и свой дворок».

4

Мое село, с какой любовью
простерлось небо над тобой.
А помнишь ты, какую кровью
добыт рассвет твой голубой?
Ты помнишь лязг холодной стали
и храп звереющих коней,
когда из седел выпали
тела порубанных парней?..
В тебя входили части красных,
затем врывались их враги.
И ты совсем небезучастно
и тех встречало, и других.
Но вот однажды в час рассвета
отгрохотал короткий бой —
и вечным пламенем Советы
заполыхали над тобой.
Тут скрылся поп, сбежал урядник
и сбросил бляху старшина.
Иные мысли и порядки,
каких не знала старина,
входили в силу постепенно,
вживались в повседневный быт...
Село родное, несомненно,
тот год тобою не забыт.
Ты поднималось в буче буден
на бой последний с кулаком.

Нашлись испытанные люди —
они пришли в волисполком.
Они в сомненьях не блуждали,
шли убежденно по земле.
Они сурово утверждали
советский строй в родном селе.
Не раз пытались подкупить их,
стреляли в них из-за плетней.
Но коммунисты поступиться
не могут правдою своею.
Они погибли, как солдаты.
Пусть вечной будет их Весна...
Село мое, не грех бы свято
тебе хранить их имена.
Однако кто, скажи, их помнит
из тех, кому под сорок пять?..
Поверь, родное, не легко мне
тебя сегодня упрекать.
Но как, ответь мне, сталося это,
что имена твоих сынов,
отдавших жизнь за власть Советов,
лишь у немногих стариков
остались, памятью согреты?
И если мы живущих славим,
спеша им почести воздать, —
при жизни памятники ставим,
то мы тем более не в праве
героев мертвых забывать!..
Село мое, с какой любовью
восходят зори над тобой.
Так помни ты, какую кровью
добыт рассвет твой голубой!

5

Поля, поля — им края нету,
плывут и тают в синей мгле.
Смуглявой женщиною лето
идет счастливо по земле.
Ей просо кланяется в ноги,
хлеба кивают головой,
и старый тополь при дороге
лепечет глянцевою листвою.

Светло идет она по свету
среди буйных злаков, буйных трав.
В пути подсолнухи ей светят,
соцветья-факелы подняв.
Идет — и ни чересполосиц,
ни меж извечных на пути.
Кругом поля и звон колосьев
да горизонты впереди.
А по зеленым косогорам,
где уцелела целина,
стада гуляют на просторе,
гуляют ветры дотемна.
И слышу я, как с упоеньем
переливается трава,
как провода под напряженьем
струятся к фермам-островам...
В поля бреду я без дороги,
гляжу — и верится с трудом,
что это люди, а не боги
преобразили степь трудом.
Какие ж только руки надо,
чтоб так вот землю осветлить,
чтоб красотою таровато
простор полынный наделить!
И в сердце сладко входит гордость.
Мои сельчане, это ж вам
рассвет трубили по утрам
ветров серебряные горны.
Ведь это ж вы с трудом великим
шли в «нашу» степь через «мое»,
и не толпою многоликой,
а коллективом, как семьей.
И покорила вашей силе
творцом забытая земля.
На счастье вам и всей России
здесь солнцем полнятся поля.

Немало езжу я по свету.
Но в трудный час моей весны —
к тебе, село мое, я еду,
как едут к матери сыны.

И ты, как мать, меня утетишь
и силы свежие вольешь...
Я вновь иду с кульком черешни,
иду селом. «Ну, как живешь?»
И каждой веткою вишневой
оно смеется: «Шу-шу-шу...»
Перевожу ответ дословно:
«Живу, как видишь, не тужу».
Над старым садом грай грачиный,
в саду — прохлада и покой.
Тужить, действительно, причины
не замечаю никакой.
Есть мельзавод и есть больница,
есть лавки, школы, сельсовет,
есть все, что нужно, — до милиции.
Зот только памятников нет.
Их нет ни красным партизанам,
их нет ни мертвым, ни живым...
Эх, люди, разве же Иваны
родства непомнящие — вы?
Зато, как встарь, самодовольно,
до голубиной высоты
взметнула к небу колокольня
свои ажурные кресты.
Гляжу — дома —
хоть завтра в город,
сады,
что сказка...

Но к чему,
как стены крепости, заборы
вокруг подворий?
Не пойму!
Мои сельчане, как, ответьте,
живет в вас «наше» и «мое»?
Какими солнцами на свете
вам день вчерашний нынче светит
и день, который настает?
Вы пасху празднуете пьяно,
а после — пролетарский Май,
и тут никто вам не мешай!..
По меньшей мере — это странно...
Вы не плохие люди, правда,
Но так нельзя, поверьте мне,—

одной ногою целить в Завтра,
другой — стоять в минувшем дне.
И если б я на всей планете
роднее вас кого сыскал —
я ничего бы не заметил
и слов обидных,
слов вот этих
я никогда б вам не сказал.

1963 г.



Мой отец печник и — спору нету —
самый лучший мастер на селе.
У людей большой авторитет он
заслужил за тридцать с лишним лет.

И к нему идут односельчане,
как больные к фельдшеру идут:
— Что-то печь, Михайлович, не тянет,
глянь приди — не посчитай за труд!..

И ему ничто — дожди, метели,
он идет, — а как же не ходить!
Но зато на свадьбу, новоселье
люди не забудут пригласить.

И меня он в детстве год от года
к мастерству печному приучал.
Объяснял устройство дымохода
и секреты кладки кирпича.

Говорил:
«С душой берись за дело,
кирпичи, Иван, клади плотней,
чтобы не дымила печь, а грела,
чтоб спасибо слышать от людей...»

Только жизнь сложилась по-иному.
Мне покоя звуки не дают.
Я принес о нашем старом доме
первые стихи в Литинститут.

И теперь, совет отца припомнив,
я учусь строки чеканить медь.

Знаю, в жизни будет не легко мне
мастерством высоким овладеть.

Но хочу ни много я, ни мало
от строки бесхитростной моей,
чтобы слово души согревало,
чтоб спасибо слышать от людей.

1953 г.



1

Вонзились главы в небо синее.
Который век — который век! —
на четкость граней, смелость линий
с восторгом смотрит человек!

Кто он, тот гений, что столетьям
из камня сказку подарил?..
Вечерний луч горячей медью
кресты литые озарил.

Казалось, с древней колокольни
вот-вот польется тихий звон.
И я задумался невольно,
любуюсь стройностью колонн.

О, сколько своды эти видели
нуждою брошенных на дно,
и сколько было здесь к спасителю
молитв-надежд обращено!

А люди с верой в жизнь загробную
сюда ходили сотни лет...
Мне показался храм надгробием,
не знавшим жизни на земле.

2

Под знойным солнцем степь, что порох.
Курганы, впадины, кусты
да кафедрального собора,
как пики тонкие, кресты.

Он много лет над окоемом
стоял, и горд, и величав,
на сотни верст кругом знакомый
Неповторимым взлетом глав.

А нынче там, где в небо вольно
вонзался памятник веков,—
не видно больше колокольни
с горячим полднем куполов.

Там груды камня летом жарким
в траве потеют по утрам,
и лишь облупленные арки
стоят, распахнуты ветрам.

И я прислушиваюсь к стуку —
рождает сердце горький стих:
какой безумец поднял руку
на гений прадедов моих?!

1957—1958 гг.

1

За дальний холм
с вершиной плоской
упало солнце в купыри.
Осталась узкая полоска
перегорающей зари.
Она июньский мрак сначала
в подворьях Марьиных свила
и перепелкой закричала
вблизи околицы села.
Потом поля накрыла сразу
полою мягкой тишина...
Хозяин вышел на террасу
и сел, скучая, у окна.
А вечер плыл легко и мудро.
Кругом июнь и тих, и юн.
Вдруг во дворе прозрачней утра
возникли звуки зыбких струн.
Они грустили, чуть светились,
как отдаленные огни.
Но вот встряхнулись, заразились
веселой удалью они.
Казалось, избы, назначенье
свое забыв, сорвутся с мест
и, залихватски подбоченясь,
запляшут на сто верст окрест...
Хозяин смотрит: что за чудо?
Идет работница с водой
и каждый шаг тяжелый свой
соизмеряет с ритмом чутко!
Под вихри аккомпанемента
мигают синих звезд лучи...
Какой же с виду инструмент тот,

что так неслыханно звучит?!
А струн певучие потоки
звонят, сливаются в реку.
Он выбежал во двор широкий
и устремился к флигельку.
Глядит: на табуретке низкой —
Антип.
Сидит себе один
и так играет, чертов сын,
на балалайке неказистой!
Легко и ловко пальцы скачут,
летают пальцы по ладам,
и три струны поют и плачут,
и звуки гаснут по садам.
Он подошел — и песня смолкла.
— Антип, сыграй еще хоть раз!..
— Да что вы, барин!
Много ль толку
в мужицкой музыке для вас?
Ведь это так — пустое дело,
ведь это, барин, баловство...
Ну, коль хотите... —
И запело
живой души и струн родство.
Казалось, песня та невольно
касалась сердца острием,
и таял сладостно и больно
мотив бесхитростный ее.
Андреев рядом сел с Антипом —
глаза, как угли, горячи.
Волнуясь, выдохнул он тихо:
— Антип, учи меня, учи!..
А тот в ответ:
— Да вам соседи
руки не будут подавать...
А он свое:
— Учи немедля!
Изволь сейчас же показать!..
Хочу игру твою осилить.
Антипка, слышишь ты?
Хочу!..
— Ну, так и быть, Василь Васильич,
давайте, что ли, поучу...

Среди знакомых, незнакомых
шли пересуды.

Что ни день:

— Слыхали? Каждый вечер дома
на балалайке трень-да-брень...

— Слыхали? Дедовскую скрипку
вчера забросил на чердак...

— Слыхали? Он мосье Антипку
взял педагогом!..

— Ну, чудак!..

Родных Андреева встречая
и пряча за улыбкой зло,
соседи головой качали
и любопытствовали зло:

— А как живет Василь Васильич,
все учится у мужика?

Талант господь послал России!..

Все у всевышнего в руках...

И поднимались дома ссоры,
упреки, слезы и мольба...

Тогда Андреев шел к озерам,
бродил по травам, по хлебам.

А сам все думал, думал, думал...

А вслед катилось:

«Не срамись!..»

Но вдруг ловил он в летних шумах
звук нетускнеющий, как жизнь.

И сердце вспыхивало солнцем,
и знойно падали лучи,

и в небо лились песней сосны,
хрустально плавилась ключи.

И целый мир, до травки малой,
врывался трепетно в него.

Земля родная обступала
родными звуками его.

И заглушить их невозможно,
и дома спорить нету сил.

И он решил...

Возок дорожный
его в столицу увозил.

Оставить все, чем жил, не просто.

Но балалайка верх взяла.
Андреев с грустью гладил доску,
что подоконником была.
Она — единственная память
оставших, безмятежных лет.
Она под умными руками
преобразится в инструмент.
А инструмент тот — балалайка,
которой молодо звучать.
Недаром он чертил с утайкой
ее детали по ночам...
Горит в росе мильон рассветов,
зовет и манит даль к себе.
Андреев едет рядом с ветром
навстречу избранной судьбе.

3

Зал благородного собрания —
эстрады петербургской центр.
Идет, расписанный заранее,
благотворительный концерт.
Купцы, чиновники, их дамы
и губернаторша сама
не очень новую программу
встречают сдержанно весьма.
И вдруг, как бомбу — получайте! —
ведущий бросил в чинный зал:
— Игра на русской балалайке!..
И чинный зал захохотал.
Андреев вышел и опешил —
один среди сцены и огней.
Ужель и вправду так потешен
он с балалайкою своей?
Но пальцы бережно коснулись
упругих струн — и вдоль реки,
впрягаясь в лямки, потянулись
с надрывной песней бурлаки.
Потом родился звон кандалный
и звон печальный бубенца,
и нет конца дороге дальней,
как въюжной ночи нет конца.
Но тут метнулись пальцы броско.

стрянув со струн тоски снежок,
и словно в зал зашли березки
и стали весело в кружок,
и поплыли светло по сцене
под звуки русской плясовой,
а сами пахли свежим сеном,
ромашкой, мятой луговой.
Казалось, вот она, Россия,
преобразилась и встает,
и лишь дороги столбовые
перепоясали ее...

Но струны замерли. И в зале —
звонящей тишины накал.

Но — миг! — и, словно ливнем, залит
рукоплесканьем жарким зал.

Волной овации вставали,
кидались к рампе, на огни,
и легкой пеной остывали
у ног Андреева они.

А музыкант усталым взглядом
в гудящий зал смотрел, смущен,
и представлял ансамбль свой рядом,
который выпестует он!

...Декабрьский ветер мел порошей,
звенел высокою струной,
и зябко вздрагивал прохожий
в пальтишке вытертом давно.
Летели с гиком тройки-бури,
неслись возки во все концы...

О, зимний вечер в Петербурге —
огни, снега да бубенцы!

Андреев шел проулком узким,
победы первой нес цветы.

Он был на грани славы русской
и был на грани нищеты.

4

По городам,
по темным весям
пошла ты, балалайка, петь,
и все к твоим тянулись песням,
тянулись душу обогреть.

Ты взбудоражила Россию,
и звуки солнечно-свежи
катились в дали верстовые
через родные рубежи.

Париж,

Нью-Йорк,

Берлин

и Лондон

ты покоряла до конца.
Мир открывал тебе влюбленно
большие залы и сердца.
И не случайно слышен был он
среди ждущей взрыва тишины
то развеселый, то унылый —
звон балалаечной струны.
Россия даже в пору эту,
в тревоге вечной и нужде,
стремилась сердцем,
словно к свету,
к неистребимой красоте.
Но красота — алмаза вроде,
не отшлифуешь — не видна.
Андреев брал ее в народе
и возвращал ему сполна.
И потому, быть может, звуки
у балалайки так свежи,
что, взяв ее однажды в руки,
он душу всю в нее вложил.
А в струнах ей темно и тесно,
нужны ей степи да леса.
В неповторимых русских песнях
она летит под небеса.

5

Метель метелилась тревожно.
На север, на восток, на юг
шли эшелоны, осторожно
нащупывая колею.
Порою в темень стаи волчьи
перебегали полотно...
Ночь напролет Андреев молча
смотрел в вагонное окно.

Скользили мимо полустанки,
леса, похожие на дым.
А в тех лесах густых — полянки,
где каждый кустик был родным...
Буранил ветер пролетарский,
редел друзей вчерашних круг.
И вдруг товарищ Луначарский
тепло сказал ему, как друг:
— Идите к нам, Василь Васильич,
вы революции нужны...
И служит новой он России,
как служат верные сыны.

6

Рассвет чеканил сосен кроны,
когда на станции Плесецк
заиндевелые вагоны
остановились наконец.
— Ну вот и прибыли на место! —
сказал Андреев.
— Что ж, я рад, —
ответил комиссар оркестра, —
идем к начальству.
На доклад.
Чуть ежась, вышли.
На перроне
мерцали в инее штыки.
Кругом повозки, пушки, кони,
папахи, шлемы, башлыки...
Здесь ощущалась близость фронта.
Земля подрагивала вслед,
когда за дымным горизонтом
снаряды бухали в рассвет.
Пока Андреев с комиссаром
начштаба фронта разыскал —
в депо израненном и старом
уж был готов к концерту зал.
И вот на спешно сбитой сцене
располагается оркестр.
В огромном стильном помещенье
снежинке не на что осесть.
Андреев строго и красиво

волшебной палочкой взмахнул —
и словно в мирную Россию
он двери настёжь распахнул.
Купало землю солнце мая,
качались блики на волне,
а звуки, крышу поднимая,
все колдовали в тишине.
Они, вольны и непокорны,
вели далёко-далеко
и в души падали, что зерна,
и прорастали в них легко...
Но тут Андреев жестом резким
взметнул «Интернационал» —
и задрожал от рукоплеска
импровизированный зал.
Наперекор метели жесткой
гимн уходил за горизонт,
и дирижер, шагнув с подмостков,
сам батальоны вел на фронт.
На фронт!
На бой святой и правый
катился гнева грозный вал.
А он в лучах высокой славы,
как знамя,
песню поднимал!

1963 г.

Наш белый город крепко спал
под мягкий шелест
темных кленов,
а через город, на вокзал,
солдаты шли побатальонно.

Качались лезвия штыков,
до звезд полночных доставая,
и охала от их шагов
и прогибалась мостовая.

Куда приказ им — в лагеря
или на летние маневры?
Солдаты шли за рядом — ряд,
а впереди колонн — майоры.

Так шли отцы их на вокзал,
грузились молча в эшелоны...
Четыре года город ждал
те маршевые батальоны.

Но возвращались их отцы
по одному, из лазаретов...
Шли сонным городом бойцы,
шли караульные планеты.

Качались лезвия штыков,
до звезд полночных доставая,
и охала от их шагов
и прогибалась мостовая.

1965 г.





ПЕВУЧИЕ ТРАВЫ

Никто не знает, что я ранен,
а что я ранен — расскажу.
Я только с виду горожанин
и эту видимость ношу.

Пускай в троллейбусах я езжу,
бываю в опере — и все ж,
я много лет полями брежу,
где синеву качает рожь.

Во мне живет и трав цветенье,
и звон кузнечика в стерне,
и месяц, дремлющий на сене,
и огоньки села — во мне.

Я помню сто степных дорожек,
и свист косы, и пот с лица,
и это все меня тревожит,
болит и ноет без конца.

И вот хожу — невозмутимым! —
по тротуарам, площадям.
А сердцем рвусь к полям родимым
да к ветроногим лошадям...

Не знаю, что мне жизнь покажет,
как помирю себя с собой?..
Я в городской квартире даже
перепелиный слышу бой.

1965 г.



До света выйди в луг поемный
и ветерку подставь лицо,
и жди, когда на небе темном
звезда проклюнется птенцом.

Минуты эти полны тайны
рожденья луговых цветов.
Фонарик свой необычайный
зажечь горошек уж готов.

А вот ромашки-молодицы
собрались в стайку, зелены,
раскрыли белые ресницы,
как будто чем удивлены.

Но лишь польется-разольется
заря, затопит небеса,—
и вспыхнет синяя роса
на синих-синих колокольцах.

Но ты молчи, хоть это трудно,
и красоту не испугай,
и знай: не за морями чудо,
а чудо вот — родимый край.

1963 г.

Вы были в осенней степи или не были,
когда журавлей провожая в полет,
равнина ли щедрая, доброе небо ли
и грустно, и радостно вслед им поет?

А это все так начинается: медленно
холодная тень загорится вдали,
и солнце тяжелое, иссиня-медное
встает из-за дымного края земли.

Потом просыпается ветер и с нежностью
разносит туман по глубоким ярам.
Над степью, пронизанной солнцем и свежестью,
он дует напористо, молод и прям.

И тут по буграм, словно скрипки, неистово
мелодией долгой звенят ковыли.
С высокого звука до самого низкого
прозрачных, уверенных гамм перелив.

Но вот сквородник серебряным голосом
лишь вступит за флейтой полыни и вдруг —
вся древняя степь, вся — курганная, голая —
былинкой любой отзовется вокруг.

Тут звуки слоятся, дробятся, сплетаются
в кантату и песню, в сонату и гимн.
Мне кажется, звезды над степью слетаются,
чтоб вторить взволнованно звукам земным...

А ветер каспийский в осенние месяцы
на крыльях широких — и крепок, и смел —
десятой симфонией радости мечется,
которой Бетховен создать не успел.

...Я травы певучие бережно трогаю.
Они для меня, словно воздух и хлеб.
А вы потеряли, товарищи, многое,—
ни разу не слушав
поющую степь.

1959 г.



Я видел Ставрополье на картинах,
в окно вагона, через дым костров...
Лежит оно в равнинах и горбинах,
лежит на стыке четырех ветров.

Здесь голубые облака гороха
и голубой полыни облака,
и за людьми на динамитный грохот,
в степную марь, торопится река.

Здесь мериносы ноги моют в росах,
метелки проса — словно бьют ключи,
и от зари расходятся прокосы
широкие, прямые, как лучи...

Поля вплотную подступили к селам.
Из сел, в разведку выслав тополя,
сады выходят воинством веселым
и смело наступают на поля.

Ах, Ставрополье, синий край России,
ты — песня эскадронная отцов.
Меня сады, поля твои растили
под птичий грай и перезвон овсов.

Мне открывали даль твои рассветы,
а жаворонки — песни и траву...
Куда б меня ни заманили ветры —
тебя от сердца я не оторву.

1962 г.

Кузнечики на скрипочках
играют по ладам.

Встает трава на цыпочки
под переливы гамм.

Трава пружинит мускулы —
дрожат в росе лучи.
А луговая музыка
восторженно звучит.

Шалфеи, маки дикие,
кукушник, зверобой,
обвиты нежно викою,
кивают головой.

Луга весь день качаются,
даль музыкой полна,
веселье не кончается
до самого темна.

До вечера, до вечера
льют скрипки голоса.
На светлый мир доверчиво
глядят цветов глаза.

А я шепчу: «Земля моя,—
судьба и боль отцов,—
ты вечная, ты самая
великая любовь!..»

1965 г.



С этим словом мне всегда рисуется:
ясень у дощатого крыльца,
гуси косолапые на улицах
и поля без края и конца.

Память сердца сберегла мне многое:
только гляну мысленно назад —
вижу, как мальчишки босоногие
перед школой выстроились в ряд.

Вот ребятам сливы недоспелые,
нагибаясь, ветка подает,
голуби под свист задорный делают
над садами плавный разворот.

Дед Кузьмич с дубинкою кизиловой
гонит стадо к Михневой горе,
а в яру, заросшем девясилами,
я смотрю картинки в букваре.

Сенокос, костер, толкуют бороды,
кони щиплют сочную траву,—
это все мне с детства очень дорого,
это все я Родиной зову.

С этим словом мне всегда рисуется:
ясень у дощатого крыльца,
палисадник, дремлющая улица
и поля без края и конца.

1956 г.

Свистят скворцы на всю околицу.
Весенний день лучист и тих.
Уже вот-вот земля проколется
ростками первых яровых.

Уж листьев зонтики зеленые
не распустить каштан не мог,
и над садами обновленными —
пыльцы нетающий дымок.

Стоят кругом деревья белые.
Сегодня с самого утра
сухие листья онемелые
старик сгребает для костра.

И в знак большого уважения
за всю заботу долгих лет
роняют ветки с упованием
ему под ноги первый цвет.

1954 г.



В холодке под грушей густокронной,
в полуденный августовский зной
спит мальчишка на траве зеленой,
обхватив руками шар земной.

А в саду,
чтоб сон не потревожить,
лист не вздрогнет,
птица не вспорхнет,
ветер у колючей огорожи
непременно в сторону свернет.

Спит мальчишка посреди планеты,
а над ним — сквозная вышина,
а над ним желтеет грушей лето
и дежурит чутко тишина.

1962 г.



Здесь май просторнее, чем небо,
цветаст, как девичий платок.
И ты, каким бы черствым ни был,—
не восхитится б им не смог.

Здесь мягкий ветер в полночь
наполнит шорохами сад.
Ты только слушай, если хочешь,
о чем деревья говорят.

Здесь зорька юной недотрогой,
суля веселье и тепло,
идет короткою дорогой
в твое цветущее село.

А следом день голубоватый
несет заботы не тая.
И солнце вялит листья мяты
у безымянного ручья...

1958 г.



Ветерок, бродяга одичалый,
за село влечет меня не зря:
за селом поля берут начало,
за полями — алая заря.

Я иду в размах рассвета дымный,
всюду мир зеленый восстает,
и земля языческие гимны
солнцу восходящему поет.

Край родной — разлоги, перелески
да орлов замедленный полет...
Как же мне не колдовать над песней,
если тут земля сама поет.

1961 г.



И. Я. Егорову

На озерах заря померкла.
Разлилась тишина.
Искры звездного фейерверка
заплясали в волнах.

Не спеша рыбаков бригада
покидает костер
и выходит в ночной прохладе
на озерный простор.

Осторожно луны подкову
поддевая веслом,
утро встретят они с уловом
далеко за селом.

Брызнет солнце над мирным краем
ливнем первых лучей
и рассыплется, заиграет
в чешуе карасей...

А покуда — уключин скрипы,
звезд неслышный полет,
и луна серебристой рыбой
прямо в сети плывет.

1954 г.



На горбину крутого кургана,
в четверть неба раздув пожар,
кто-то выкатил раным-рано
раскаленного солнца шар.

Слышен стрекот косилок рьяный.
Начат день — только ведро дай!
На прокосах трава, провянув,
пахнет, словно грузинский чай...

Я снимаю рывком рубаху,
руль косилки покрепче взяв,
звонкой сталью врезаюсь с маху
в гущу сочных высоких трав.

Я пьянею от травоцвета,
от работы и утренних рос,
и чеканной строкой сонета
на разлужье ложится прокос.

1954 г.



А солнце плавилось в зените.
Но тучка выползла — и вот
дождя капроновые нити
заштриховали небосвод.

И дружно выпрямились травы,
флажками вскинули цветы,
и дождь смеется, весел нравом,
и льется, льется с высоты.

Беззлобно молния хлестнула
по тучке огненным кнутом,
и, полня даль степную гулом,
забалагурил мирный гром.

А дождь, вызванивая тонко,
по крышам пляшет, по плетням,
и кукуруза, как девчонка,
стоит, косички расплетя.

И нет дождю иной заботы,
как вызвать в поле кутерьму.
Его веселая работа
ему по нраву самому.

1963 г.



Люблю я слушать, как звонят колосья!
Да, да,— звонят!— в прямом значенье слова,
звонят, когда их осторожный ветер
перебирает пальцами.

И это
нельзя не полюбить и не запомнить.
В июльский полдень,
знойный и белесый,
я шел степной накатанной дорогой.
Кругом хлебов немеряные версты,
и волны крутобокие как будто
горячий путь мой захлестнуть старались.
А вдоль обочин,
выгибая стебли,
раскачивались медленно колосья,
и каждый колос явственно и тонко
звенел за каждым дуновеньем ветра,
как будто он усами струн касался
или из меди чуткой был откован.
И мне казалось — спелая пшеница
разучивает песню изобилья...
Люблю я слушать, как звонят колосья!

1960 г.



Спит село Калиновка в низине.
Лунный свет искрится на реке.
Ходит сторож возле магазина
с ижевской двухстволкою в руке.

А напротив паренек несмело
стал у освещенного окна.
Сторожу, конечно, мало дела —
отчего кому-то не до сна.

У него под бдительной охраной
сельского значения объект.
А вот парень караулит — странно! —
в девичьем окне электросвет.

Ночь они шагают неизменно
по одной и той же мостовой.
Только сторож бодрствует до смены,
паренек — бессменный постовой.

1953 г.



Еще пастух коров пасет,
и акварель отав густа,
но это, собственно, и все,
что сбереглось от августа.

Гуляет осень неспроста,
где степь под звон росы спала:
у придорожного куста
медяшек горсть рассыпала.

Сияет солнце.
Не поймешь,
что в осени угрюмого?
Вокруг настолько мир хорош,
что нечего выдумывать.

Иду, гляжу во все глаза,
как в первый день творения.
— Природа!— хочется сказать —
прошу в стихотворение!

1954 г.

Опустел полевой вагончик.
Далеко еще до утра.
Чабаны, все дела окончив,
собираются у костра.

Поднял чуткую скрипку подпасок —
струны ожили на ветру.
Взмах смычка...
и в волшебную сказку
обращается ночь вокруг.

Звук рождается
и в поднебесье
долго-долго плывет, звеня,
то холодной буранной песней,
то горячим дыханьем дня.

Грусть коснется и улетает
непонятым весельем вдруг,
словно звезды в струну вплетают
свой космический тонкий звук.

Вышел месяц над стогом сена
и, услышав мелодию, стал...
Степь подпаску — огромная сцена,
ночь без края — концертный зал.

1955 г.

20

Полночь. Степь. Над головой Стожары.
Стойкий запах днем привядших трав.
Нехотя у дремлющей отары
гавкает на небо волкодав.

И ему до света из станицы
хор дворняжек голос подает.
На току усталой весовщицей
урожай берется на учет.

Там с тугой ладони транспортера
днем и ночью, щедрости полна,
с шорохом крупитчатым на ворох
льется речка спелого зерна.

Там огней, как на большом вокзале.
Словно звезды, совершая путь,
в чистом небе двигаться устали
и присели в поле отдохнуть...

Полночь. Степь, устав от зноя, дремлет.
С полустанка слышатся гудки.
Фарами ощупывая землю,
через ночь бегут грузовики.

1956 г.



В садах разбрасывал апрель
снежинки лепестков,
когда нежданно слег в постель
старик Игнат Песков.

Пришел из степи он вчера
здоров и бодр, но вот
сегодня с самого утра
старик наш не встает.

Ему ветра поют в трубе,
а он не может встать.
Наверно, годы о себе
дают Игнату знать.

И тут не надо звать врача.
...Идут за днями дни.
Уже давно семья скворчат
слетает на плетни,

уже сдает колхоз давно
черешни на завод,
а дед по целым дням в окно
глядит и не встает.

Однажды внука он позвал
и говорит: «Илья,
покамест в рай я не попал —
свези-ка на поля.

Взгляну хоть глазом,— не могу
лежать уже, как пласт.
Старухе только ни гу-гу,—
а то чертей задаст!..»

Рассвет в оконное звено
прорвался сквозь стекло.
А дед и внук давным-давно
проехали село...

Листвой чуть слышно шелестят
в посадках тополя.
Куда старик ни бросит взгляд —
знакомые поля.

«Эх, вот, комар тебя бодай,
краса какая здесь!»
И внуку: «Ну-ка, помогай,
хочу с подводы слезть.»

В хлеба Игнат забрел с трудом
и шепчет: «Вот чисты!..»
А на лицо — роса дождем
с колосьев налитых.

Потом он глянул на коня
и приказал: «Не стой,
езжай, Илюха, без меня —
дойду и сам домой...»

Июньским утром — свет, тепло —
петь просится душа!
Игнат Песков домой, в село,
шел тропкой не спеша.

1952—53 гг.



Беда и радость — полной мерой.
С тобою, жизнь, не пропадешь...
Мне вспоминается мой первый,
мой трудовой артельный борщ.

Он в миске глиняной грошовой
так аппетитно розовел!
Я черпал ложкою грушовой
и до седьмого пота ел.

Тот борщ наварист был не очень.
Но заработан мною был.
Я за него с утра до ночи
по борозде быков водил.

А мой наставник дед Чаплыгин
из рук чапыг не выпускал,
как будто руки к тем чапыгам
навек кто-то приковал.

Уже в глазах качалась пашня
и ноги наливал свинец.
А дед — одно:
— Давай, Ваняша!
На фронте хлеба ждет отец.

Держись, малец, еще немного!
Ведь ты — мужик почти, Иван...
Сейчас добьем «козу» — и с богом!—
пойдем вечерять на культстан...

И я давал, и я держался,
и мужиком считал себя,
покамест мой отец сражался
в седых Таврических степях.

Я вспомнил все:
и дымки полог,
и от быков в полполя тень...
Каким был длинным и тяжелым
мой трудовой, мой первый день...

Вот потому и в настоящем,
где ни летаю, ни хожу,
в борще артельном, немудрящем
особый вкус я нахожу.

1965 г.

(Венок сонетов)

От снегов синеватых Домбая
до арзгирских соленых озер —
край родимый дороги простер
для меня и зеленого мая.

Свежесть утра степного вдыхая,
поднимусь на высокий бугор:
нынче я заступаю в дозор —
Здравствуй, даль без конца и без края!..

Удивляясь веселым цветам,
я пойду по росистым разлогам.
Будут ветры вести меня строго

по заросшим травой следам,
по далеким забытым годам...
Я доверюсь ветрам и дорогам.

От снегов синеватых Домбая
не могу я глаза отвести —
начинают фиалки цвести,
на сугробы гурьбой наступая.

Чуть пониже — трава луговая,
ежевики сплетенья густы,
и тропинка ныряет в кусты,
над обрывом крутым замирая.

Дальше — речка стремится на волю
из теснин, от нахмуренных гор.
Что-то буки ей шепчут в укор,

потемнев от обиды и боли...
Мне отсюда видать Ставрополье
до соленых арзгирских озер.

II

До соленых арзгирских озер
доплеснула волною пшеница.
Степь мне кажется древней страницей —
я читаю ее до сих пор.

Надо мною ветров разговор,
кучевых облаков вереницы...
Вот в дали показалась станица
и доносится струн перебор.

Если сморит дорога — то люди
не защелкнут дверей на запор.
А в степи мне чабанский костер

самым лучшим пристанищем будет.
И куда ни пойду я — повсюду
край родимый дороги простер.

III

Край родимый дороги простер
полевые, знакомые с детства.
Я их с гордостью принял в наследство,
словно старый родительский двор.

Лишь приблизится май-фантазер —
зацветают луга по соседству,
и уже никакому тут средству
не унять в моем сердце задор.

Ветер в спину толкает — иди! —
будто друга, меня обнимая.
До последней былинки родная,

расстилается степь впереди,
и ложатся прямые пути
для меня и зеленого мая.

IV

Для меня и зеленого мая
поднимается солнце в зенит,
и крылатая песня звенит,
неба парус тугой колыхая.

Дремлют горы, лучам подставляя,
от веков потемневший гранит.
А трава себя людям хранит —
заждалась их тропа полевая.

Знаю, завтра еще до зари,
оплывающий сумрак пугая,
зашумит воробьиная стая,

и, качая рубах пузыри,
будут сено косить косари,
свежесть утра степного вдыхая.

V

Свежесть утра степного вдыхая,
синей сталью врезаюсь в траву,—
я веду свой прокос, как тропу,
по скользящим лучам выпрямляя.

И трава от росы голубая
под косою склоняет главу.
Я кошу, словно в море плыву,
не косой, а веслом загребая.

А когда уже пот с меня — градом,
И рабочий иссякнет задор,—
Я направлюсь в зеленый простор
и, чтоб солнце почувствовать рядом,
чтобы к небу притронуться взглядом,—
поднимусь на высокий бугор.

VI

Поднимусь на высокий бугор
и в степном полуденном просторе
я увижу Сарматское море
и услышу русалочий хор.

Только море, наверное,— вздор.
Впрочем, я не участвую в споре...
Правда вот: как материю, порет
небеса реактивный мотор.

Правда вот: над веками подъятый
Стрижамент, и, ветрам вперекор,
упираются трубы в шатер

высоты, как Кубань, синеватой,
и спокойны казацкие хаты —
нынче я заступаю в дозор.

VII

Нынче я заступаю в дозор.
На рассвете иду по тропинке,
а в холодных граненых росинках
зажигаются тысячи зорь.

Здесь такой был зимою разор!
А сегодня на каждой травинке —
по цветку!.. И одна лишь сединка —
прошлогодней полыни вихор.

Радость в сердце бурлит, как Уруп,
брызжет солнцем, весь мир озаряя.
А тропа на рассвете сырая

намоталась на холм, как на клуб,
и невольно срывается с губ:
«Здравствуй, даль без конца и без края!..»

VIII

Здравствуй, даль без конца и без края!
Здравствуй, солнца высокого свет!
Я любовь свою вылью в сонет,
сторона ты моя степная.

Счастья ль миг иль година лихая —
для любви моей выбора нет.
Степь шумит — и шепчу ей в ответ:
«Я люблю тебя, слышишь, родная!..»

Ни росинки твоей, ни кургана
никогда не продам, не продам.
По далеким краям, городам,

по чужим путешествуя странам,
я вернусь к тебе поздно иль рано,
удивляясь веселым цветам.

IX

Удивляясь веселым цветам,
безмятежным рассветам, закатам,
мне идти по степным перекатам,
как по замершим волнам-годам.

Я дороги свои не отдам
ни ветрам, ни метелям косматым,
и любовь к ним горячую свято
пронесу по сугробам, по льдам...

Что мне версты и что мне лета,
если радости всюду так много,
если просится песня в дорогу!

И пока еще сумрак в кустах,
и пока еще спит Красота —
я пройду по росистым разлогам.

X

Я пройду по росистым разлогам
кевсалинских безмежных степей.
В золотистых цветах деревьев
будет преданно кланяться в ноги.

Я не верю ни в черта, ни в бога —
верю в добрые души людей.
Знаю, дружбой надежной своей
наградят меня люди в дороге.

Потому, подчиняясь вполне
ранним звукам пастушьего рога,
я на холм поднимаюсь пологий.

Вот отсюда, по синей весне,
по казачей степной стороне
будут ветры вести меня строго.

XI

Будут ветры вести меня строго
по земле, ничего не тая,
чтоб душа наполнялась моя
беспокойством, заботой, тревогой.

И в пронзительных красках Ван-Гога
распахнутся родные края.
Сбросит мир колдовство забытья —
станет колосом, деревом, стогом.

Словно в детстве, я травы и злаки
вновь начну повторять по складам
и, доверясь их звучным ладам,

буду рвать тонконогие маки
и разыскивать прошлого знаки
по заросшим травую следам.

XII

По заросшим травую следам,
не примяв молодой подорожник,
только мысли промчатся тревожно
к неприступным скалистым грядам.

Только в мыслях привет передам
перепелкам, стрижам осторожным,
тополям — сторожам придорожным
да в пути поотставшим летам.

Льется время легко, непреложно,
словно ток по стальным проводам,
и кукушки грустят по садам...

Мне кукушечья грусть не поможет,
если снова пройти невозможно
по далеким забытым годам.

XIII

По далеким забытым годам
не один еще ветер проскачет,
не одна еще туча оплачет
дни, что резво бегут к холодам.

Я без боя зиме их не сдам.
И покамест глаза мои зрячи,
бьется сердце от крови горячей —
дни себе подчиняю я сам!

Отчий край обойду я пешком,
где придется — подъеду на дрогах,
и, как старый еврей в синагогу,

буду тихо брести с посошком,
буду пить из ручья лопушком —
я доверюсь ветрам и дорогам.

XIV

Я доверюсь ветрам и дорогам,
горизонтам родимой земли,
где плывут облаков корабли
и теряются в небе далеком.

Беспредельного счастья залогом
на курганах свистят ковыли,
и прибоем вскипают вдали
ячмени на равнине широкой...

За селом разгорелся закат —
солнце спеет в заре караваем.
Я иду по дорогам за маем,

я — на праздник весны делегат
от полей, от калиновских хат,
от снегов синеватых Домбая.

1965 г.



С куста на куст перелетают зяблики
и стряхивают желтую листву.
Последние антоновские яблоки
зарю глухо падают в траву.

Иду я в сад.
Над старыми деревьями
задумалась осенняя пора,
и кажутся мне древними-преддревними
мои ребячьи синие утра.

Я тут знаком был с каждою тропинкою,
с ключами гомонкими был знаком,
с любой пичугой и любой травинкою
веселым объяснялся языком.

Я тут зимою заячьими, лисьими
петлял следами — шапка до бровей,
а летом ветки ласковыми листьями
тут гладили меня по голове...

Ребячьи годы, были вы иль не были,
или отстали где-то по весне?
Цветастее, причудливее не были
я вас увидел нынче, как во сне.

Ребячьи годы, вы катились дрогами
к степным курганам в копнах курая,
где грезил я далекими дорогами,
манившими в далекие края.

И вот сегодня мягкими отавами
иду я в старый поредевший сад.
Медлительными грустными октавами
деревья надо мною говорят.

И не пойму я — ласково ли, строго ли
лучится солнце в зябкой синеве.
Но ветки груш меня украдкой трогали
и гладили меня по голове.

А я, давно привыкший к расставаниям,
проститься с детством встреченным не смел.
Свою любовь к дорогам, к расстояниям
я объяснить сегодня б не сумел...

Качаются на тонкой ветке зяблики.
Не бойтесь, птахи, — я вас обойду.
До новых встреч, антоновские яблоки,
прощай, баллада осени в саду!

1959 г.



Сторонка русская,
ветрам открытая,
соломой русою
хатенки крытые.

Из-под скалы седой,
из-под песчаника
ключи живой слюдой
на солнце тянутся.

И через все село,
через Калиновку
речонка весело
бежит долиною.

А в синем мареве
она скрывается.
Ракиты старые
над ней склоняются.

За речкой светлую,
такой речистою,
тропой рассветною
ушел я из дому.

И вот уж годы я
дорожкой узкою
за ней, негордою,
иду без усталы.

Вдали растаяло
родное сельбище,
а речка шалая
все лентой стелется.

1964 г.



Ставрополье.
Нефтяные вышки.
Вы откуда забрели сюда?
Верно, прогуляться утром вышли
и в степи остались навсегда.

И остались, полюбив навеки
озими медлительный прибой,
пахнущего полем человека
и курганы в дымке голубой.

И теперь нефтяников поселки
домики рассыпали вдали,
и, петляя, новые проселки
по равнинам знойным пролегли.

Ставрополье.
Степь.
Движки рокочут.
Рвется нефть из недр земных, сипя.
Хлебороб потомственный — рабочим
называет с гордостью себя.

1958 г.



На взгорьях буйство дымчатой полыни,
внизу пшеница выметалась в рост,
и нет кустов терновника в помине —
осталась речка да остался мост.

Дожди и ветры точат камень крепкий,
врастают в землю грузные быки...
Терновский мост!
В селениях окрестных
о нем хранят преданья старики.

Когда-то здесь был край земли российской —
бугры, лощины, ковыли густы,
и синий терн,
как синие росинки,
роняли в речку дикие кусты.

У речки этой беспокойный норов,
и переезд в распутицу не прост.
Однажды, проезжая тут, Суворов
солдатам приказал:
«Построить мост!..»

И вот он выгнул каменную спину
среди густых, нетронутых тернов.
Ни половодьям,
ни векам не сдвинуть
его тяжелых тесаных быков.

Гудел он под колесами орудий,
подрагивал под сотнями копыт...
Минуют годы, отживают люди,
а он как будто временем забыт,

А он, упершись в берега, угрюмо
стоит седой, легендами оброс,
и облака плывут над ним, как думы,
и с новым хлебом движется обоз.

1964 г.



Когда луга взволнованы ветрами,
и май идет с отбитою косой, —
я вашу речь подслушиваю, травы,
и ваш язык перевожу на свой.

Со всех сторон несется говор синий,
слова звенят и тают в вышине,
как будто небу говорит Россия
о вечности, о мире, о весне.

Я те слова прилежно повторяю,
пока не заучу их наизусть.
Я им до капли радость поверяю,
я им до капли поверяю грусть...

Шумите, травы, пойте на разлужье.
Пора придет — и срежет вас коса.
Но ваш язык я вспомню в зной и в стужу,
а ветер вспомнит ваши голоса.

1966 г.



А. Е. Таратынову

Я вскочу в седло
да прижму шенкеля —
конь помчит меня
в росяные поля.

Даль плеснет в лицо
синевою степной,
заклубится вихрь
у меня за спиной...

Ты лети, дончак,
не касаясь земли,
проскачи Арзгир,
заверни в Рагули.

Пусть шумит село,
как река по весне:
— Что случилось? Где?
— Человек на коне!..

Дончаку вослед
так посмотрит пострел,
как когда-то я
на машину смотрел...

А ветра летят,
удилами звеня,
и на сотни верст
не найти коня.

1966 г.



Ты так спешишь — скорей, скорей! —
что ни деревья, ни станицы
в воде бунтующей твоей
не успевают отразиться.

Куда тебе, Кубань, спешить?
За кем тебе угнаться надо?..
В ночной свежующей тиши
выводят соловьи рулады.

А ты не знаешь тишины,
ты песен птичьих не слыхала.
Лишь вечный шум
да плеск волны,
с размаху бьющейся о скалы.

Не торопись, моя река,
остынь от яростного бега —
и ты увидишь облака
и горы в белых шапках снега,
увидишь небо над собой,
в каменья вросшие, чинары, —
ты мир увидишь молодой
и в то же время очень старый.

А ты, Кубань, спешишь — скорей! —
и ни деревья, ни станицы
в воде бунтующей твоей
не успевают отразиться.

1966 г.



До весны еще далеко.
До весны не достать рукой.
И над схваченной льдом рекой
ивам иней держать нелегко.

Нелегко в эту пору в степи
зверь находит еду и ночлег...
Ветер, словно сорвался с цепи,
тучей гонит сыпучий снег.

С диким гиком кружит по полям
разъяривший буран гулевой.
Нелегко устоять тополям
с гордо поднятой головой.

Иглы жесткие больно жгут
молодые сквозные лески.
Но упрямо апреля ждут
туго скрученные листки.

Целься, солнце, целься верней
разъяренной зиме в висок...
В каждом клубне, в каждом зерне,
как пружина, взведен росток.

Хоть еще до весны далеко.

1962 г.

22

1

Ни малины, ни малиновки —
в голых ветках ветра свист.
Ходит осень по Калиновке,
разметая палый лист.

Ходит осень...
За околицей
зябнут зябь да зелена,
и ледок стеклянно колетя,
под копытами звеня.

Дико пляшут кони в панике,
скачут — небу горячо.
У сватов и сватий пьяненьких —
рушники через плечо.

На невесте платье белое
да бумажные цветы.
Дончаки осатанелые
стелют по ветру хвосты.

Мчат припевки прокулацкие
из конца села в конец:
«Не хочу я регистрации,
а хочу я под венец!..»

Свадьбы — толпы многоликие,
песни, пляски, рюмок звон...
До поста, поста великого
льется речкой самогон.

До поста — веселье громкое,
и по свадьбам,

как Христа,
гармониста водят с хромкою
до великого поста.

2

Я не знаю,
как попала
та присуха к нам в село,
что в мехах таила алых
и прохладу и тепло.

У сельчан был хлеб из нольки,
много кур, свиней, коров
и — одна двухрядка только
на две тысячи дворов.

У сельчан —
в плетнях усадьбы,
гумна, кони, что огонь,
и на все крестины, свадьбы —
разъединяя гармонь.

Гармонист — Ходарин Федя.
Полсела — ему родня.
Говорил с людьми он медля,
как целковые ронял.

А бывало, на вечерку
выйдет с хромкой чаровой, —
и пред ним,
чубатым чертом,
девки стелются травой.

Женихи нахмурят взгляды
и обидно смолкнут враз.
Девки пляшут до упаду,
не спуская с Феде глаз.

А гармонь поет спесиво,
словно надсмехается:
«Все вы, девушки, красивы —
мне ж нужна красавица...»

Отдождала хмуры осенняя,
отметелила зима,
и весна без опасения
по земле идет сама.

Дни вскипают бурной речкою,
разливаясь по дворам.
А на залежь вековечную
наступают трактора.

Мужики скребут в потылице,
каждый думает свое:
«И во что же оно выльется,
это новое житье?..»

Долго шепчутся украдкою:
«Что же делать?—
Вот вопрос!..»
Но потом,
хотя с оглядкою,
все же пишутся в колхоз.

И впервые в жизни —
звеньями,
среди бригадного двора,
мужики в поля весенние
собираются с утра.

На телеги грузят бороны,
с семенным зерном мешки
и, разглаживая бороды,
едут сеять мужики.

И трещит по швам,
ломается
древний дедовский уклад.
Даже ветер улыбается
и поет на новый лад:

«Эх, колхозная весна,
до чего же ты красна!..»

А гармонь в недоуменье
по селу бредет одна,
день вчерашний —
воскресенье —
ищет,
с полдника хмельна.

Ей одной лишь делать нечего,
лишь она не разберет,
отчего сегодня с вечера
по домам сидит народ?..

А сельчане —
тяжче палицы
руки,
знающие труд,—
неприученными пальцами
первый раз букварь берут.

И над буковками черными
люди долго морщат лбы
и читают непокорные
письмена:
«Мы — не рабы...»

Набегают строки волнами,
оживая на виду,
и словами,
смысла полными,
речь с крестьянами ведут.

И они ночами чуткими,
как евангелие встарь,
все читают книгу чудную
под названием:
«Б у к в а р ь»,

Осень — свадьбы, посиделки,
хороводная пора,
и стоят — томятся девки
у Ходарина двора.

Федя вышел, смотрит важно,
что китайский мандарин.
— Вы чего тут?
— Федь, уважь нам...
— Сколько вас, а я — один!..

На вечерку
хмурой стайкой
возвращаются послы.
Снова байки балалайки
да скучища,
как в посты.

Но однажды вспомнил кто-то
про пустой кулацкий дом.
Если б взяться, мол, с охотой —
клуб открыть бы можно в нем.

А тогда б —
свои концерты
да спектакли —
клуб-то наш!
А тогда пускай бы черти
звали Федю на шабаш...

Слов не тратя понапрасну,
а на следующий день
на воскресник,
как на праздник,
вышли все,
кому не лень.

Парни ловко сбили сцену,
перекрасили полы.
Девки мыли окна,
стены,
подоткнувши подолы.

И уже под вечер стало
больше вывеской в селе.
«Клуб «Заря» —
карминно-алым
пели буквы на стекле.

В клуб свои пришли артисты:
и певцы, и плясуны...
Но концерт без гармониста —
балалайка без струны.

И пришлось девчатам снова
целой делегацией
у резных ворот кленовых
Федю дожидаться.

Федя вышел, смотрит важно,
что китайский мандарин.
— Вы чего тут?
— Федь, уважь нам...
— Сколько вас, а я — один!..

Тут девчата взвились прямо:
— Ах, ты, дьявол, рыжий пень!
Ты всю жизнь играл для пьяных,
а сыграть для трезвых — лень?!

С Феди важность ветром сдуло.
Потемнела синь в глазах.
Он об этом тоже думал,
но не знал, кому сказать.

Разве б он сумел на свадьбах,
одуревших от вина,
объяснить сватам и сватьям,
чем душа его полна?

Разве ж те, что, сально щеря
рты беззубые, орут
«Горько!», «Горько!»,
в полной мере
душу Федину поймут?

Улыбнувшись виновато,
он сказал:

— Ну, хорошо!..

Что вы лаетесь, девчата?

Я бы в клуб и сам пришел...

Пляшет парень,
пляшет «Яблочко»—
пол гудит,
как барабан.
«На щеках у милой ямочки
не видны из-под румян...»

Доски стонут,
доски охают,
доски жалобно скрипят.
Просит клуб,
в ладони грохая,
третье «Яблочко» подряд.

И чечетит снова парубок,
легок на ногу и лих.
«Разменяю мужа старого
на двоих на молодых!..»

Отерев со лба испарину
и гася веселья пыл,
выход Федора Ходарина
парень бойко объявил.

И гармонь,
гармонь двухрядная,
чутко вздрогнув,
ожила
и сердца в поля нарядные
вслед за песней повела.

Каждой травкой,
каждым колосом
мир зеленый говорил.
Лился полдень птичьим голосом
звонок, молод, синекрыл.

И светлели взгляды черствые
под навесами бровей,
и обветренные, черные
лица делались добрей.

Никогда такого не было,
сколь ни слушали гармонь,
чтоб от песни,
чтоб от небыли
в сердце вспыхивал огонь.

А двухрядка души грубые
поднимала к небесам,
и слезинки бабьи, глупые
набегали на глаза.

7

Белый снег на белом свете.
Замела года метель.
У Ходарина у Феде
чуб, как яшень, облетел.

И давно уже вечерки
без него обходятся,
и давно уже девчонки
с Федором не водятся.

И в селе родимом ныне,
кроме песен из Москвы,
есть баяны, пианино,
два оркестра духовых...

И случись,
что в каждой хате —
свадьба — пир идет горой!
Разной музыки тут хватит
на две тысячи дворов.

Потому-то нынче, может,
голос хромки той забыт,
и никто сказать не сможет,
чем был Федя знаменит.

Спросишь —
девушка иль парень
покачает головой:
— Гармонистом был?

Ходарин?
Есть Ходарин — ездовой!..

И немного станет грустно.
Крикнуть хочется:
«Постой!
Это ж Федя нас к искусству
приобщал своей игрой.

Это ж Федя неустанно
веселил сердца и грел,—
мир Прекрасного сельчанам
открывал он,
как умел.

Это ж Федя сеял первым
нежность звуков и тепло...»
Оттого сейчас, наверно,
любит музыку село.

И пускай не помнят дети
звонкой Фединой зари,
мы — отцы уже и деды,—
мы спасибо говорим

за игру его,
что силой
души наполнила не раз,
что напевами России
Красоту будила в нас.

8

Ни малины, ни малиновки —
в голых ветках ветра свист.
Ходит осень по Калиновке,
разметая палый лист.

Мчатся свадебные «Волги»
главной улицей села.
«Что ж ты, милый, ищешь долго —
я б тебя скорей нашла!..»

Замуж дочь выходит!
«Барыней»
хромка стелет свадьбе путь.
Как тут Федору Ходарину
сединою не тряхнуть!

И поет двухрядка,
бредит
старая, бедовая.
Ты сыграй нам, дядя Федя,
что-нибудь да новое.

«У доярки щеки яркие,
две медали на груди.
Нелегко такой доярке
жениха под стать найти!..»

Свадьба катит,
свадьба едет —
ветер завивается.
А гармонь у дяди Феди
так и заливается.

И несут на крыльях душу
удалые звуки...
Он играл бы, может, лучше,
да устали руки.

1964 г.





Д О Р О Г И

Я всех приглашаю —
поедемте в город,
который из ветра,
из солнца который.

Туда непоседы,
романтики едут,
и вы собирайтесь,—
твержу я соседу.

Тот город на карты
внести не успели.
Там бродят в обнимку
и кедры, и ели...

На улице Счастья,
в аллее Влюбленных —
семейства счастливых
и вечнозеленых.

Там в мае на клумбы
спускаются звезды,
там юностью пахнет
нахвоенный воздух...

Скажите, скажите,—
вы едете в город,
где белки роняют
орехи за ворот,

где крыши — из неба,
а стены — из ветра,
где мужество нужно
и в доброе вера?..

Над этим не стоит
раздумывать долго —
скорей занимайте
вагонную полку.

Пусть поезд несется
навстречу рассветам,
в зеленое царство
таежного лета.

А если тот город
найти мы не сможем —
то новый построим,
с легендою схожий.

Дадим ему имя,
на картах пометим,
чтоб юность мечтала:
— Поедем?
— Поедем!

1962 г.



Над селом тишина
отстоялась до звона.
А луна над селом —
можно гладить руками.
Я ходил по земле,
не залитой гудроном,
по земле,
не одетой
накатанным камнем.

Но не очень уверенно
ставил я ноги:
спотыкался порою
на кочках и свеях.
Я отвык от проселочной
битой дороги,
разучился ходить
по родимой земле я.

Не легко обретаали
ступни мои чувство,
позабывтое чувство
неровности почвы,
и не вдруг
возвратилось
простое искусство
облегченно шагать
через пажити ночью.

Я бродил по степи,
по проселкам живучим,
ощутив первородную
слитность с землею.

А земля моя русская
силой могучей
поднималась до сердца
крутою волною.

1965 г.



Церез овраги, через чащи
заснувших елей и берез,
спешит к кому-то настоящий
с мешком подарков дед-Мороз.

Его не задержать невзгоде.
Он по снегам пройдет, по льду...
Я тридцать девять новогодних
ночей все жду его и жду.

Не раз басил он в нашей хате:
«Пляши, малец, — конфет принес!..»
Я трогал бороду — из ваты.
Какой же это дед-Мороз?

И все же, все же не напрасно
я жду его: свершится быль!..
Не может быть того, чтоб сказкой,
всего лишь выдумкой он был.

Пускай года летят, как ветер,
пусть чуб мой инеем оброс, —
я верю:
есть на белом свете
живой, из плоти дед-Мороз!

1965 г.



Морозов жесткость,
хрупкость стали,
сыпучесть снежной пелены.
Но вы пришли сюда и стали
на землю мерзлой целины.

Степь распахнулась — края нету,
такая даль и высота,
что даже выпуклость планеты
здесь ощущалась иногда.

И вот в краю рассветов строгих,
в краю нетронутой земли,
ветвились первые дороги,
поселки первые росли...

От горизонта к горизонту
водила борозды весна,
и гасли в волнах чернозема
жаринки первые зерна.

Они упрямо прорастали —
поля юнели по часам,
и вы сердцами прирастали
к земле, доверившейся вам.

Вас приводили к солнцу дали,
вас ветры славили, вольны,
пока чеканились медали
за освоенье целины.

1962 г.



(Из А. Царукаева)

В большую каплю утром
две росинки
слилися нежно
на листке ольховом,
и капля,
вспыхнув звездочкою новой,
в родник упала
радостной слезинкой.
И наклонился я к воде,
чуть-чуть всплеснувшей,
напился и пошел,
стряхнув усталость,
и мне казалось —
капля та упала
в мою, мечтой встревоженную,
душу.
Две светлые росинки наделила
заря весенняя
одной судьбою...
О, если б в волны жизни
ты со мною,
как эта капля,
броситься решила!

Неделю — дождь, а нынче — ведро.
Жена окно открыла:
— Глянь,
вон женщина проносит ведра,
зарей наполненные всклянь!..

Жена не знает, и, наверно,
о том не надобно ей знать,
что этой женщине я первой
дарил стихов своих тетрадь.

С тех пор годов прошло не мало,
воды не мало утекло.
Но только женщина та стала
еще красивей, как назло.

И я гляжу на профиль гордый —
проходит, взгляда не дая.
Лишь в голубых —
из цинка —
ведрах
случайно вздрогнула заря.

1965 г.



Камень дикий, пока он в скалах,
пока он — порог или берег речной.
Но если камень рука приласкала —
этот камень — ручной.

Камень становится домом жилым —
зримой симфонией века;
камень бывает добрым и злым
в умных руках человека...

Ему поклонялись.
Потом — перестали.
Его покоряли силой безмерной.
Камень — бессмертье на пьедестале
и пьедестал для бессмертья...

Люди и солнце,
вода и ветер
кромсают его веками.
Стали великою книгой на свете
следы на камне — следы на камне.

Камень дикий, пока он в скалах,
пока он — порог или берег речной.
Но если камень рука приласкала —
этот камень — ручной.

1961 г.

Птенец

Вот высидели ласточки птенцов.
В гнезде, под крышей городского дома,
с утра до ночи слышен писк голодный,
и пара взрослых птиц с утра до ночи
над городом огромным ловит мошек,
чтоб выводок прожорливый насытить.
И дни идут. Птенцы растут и крепнут.
Уже их дом становится им тесным...
Однажды утром любопытный птенчик
из дремлющего выглянул гнезда —
и желтый рот раскрыл от удивленья.
Ему в глаза веселыми лучами
ударил заря, ему деревья
протягивали ласковые руки
и властно звало голубое небо!
Он изумлен был, зачарован миром,
волшебным миром звуков, форм, и красок.
И захотел птенец неудержимо,
так захотел он высоты и счастья,
что ринулся навстречу морю света,
навстречу струям утреннего ветра...
Но тут неоперившиеся крылья
птенца не удержали на лету,
и он упал бы, может, на камень,
когда б отец, за ним следивший молча,
своим крылом не поддержал его.

1961 г.



Желтые гвоздики

Я нес любимой желтые гвоздики,
похожие на маленькие солнца.
Я нес цветы. Я нес любимой радость.
А на меня прохожие смотрели
с каким-то непонятым удивленьем,
как будто я среди них был исключеньем.
Одна бесцеремонная особа,
прищуриив глаз, сказала грубовато:
— Эй, парень, желтые цветы не дарят —
они к разлуке. Слышишь ты? К разлуке!..
Но я любимой подарил гвоздики.
Ах, как была она цветам тем рада!
Она смеялась, прятала лицо в них,
вдыхая тонкий аромат и свежесть.
Она смотрела мне в глаза счастливо,
гвоздикам вазу синюю готова.
И я подумал: «Как это случилось,
что желтые цветы летучей ложью
недобрый кто-то запятнал бесстыдно.
А мы за ним бездумно повторяем:
«Да, желтые цветы таят разлуку!..»
А желтые цветы — грустны и немые.
Они обиду терпят и не могут
ни слова вымолвить в свою защиту...
Не верьте, люди добрые, навету.
Дарите желтые цветы. Дарите!
Я нес любимой желтые гвоздики,
похожие на маленькие солнца,
и до сегодня счастлив, очень счастлив,
слышите вы?— Счастлив!

1961 г.



Не во сне ль твои губы пропели:
«Собирайся быстрее — пора!
Белогривые кони метели
с нетерпением ждут у двора.

Не жалея, покинем мы тайно
застоялый домашний уют.
Только встречные ветры пускай нам,
как в далеком апреле, поют.

Мы промчимся заснеженным логом,
где в степи, близ большого села,
наша юность отстала в дороге,
а догнать уже нас не смогла...»

Может, все это сны мне напели.
Только слышал я сам — у двора
белогривые кони метели
гарцевали всю ночь до утра.

1964 г.

Качает бакены отцветшая,
отяжелевшая вода.

Идут последние суда,
поклоны медленно отвешивая.

И кажется река натруженной,
усталой кажется она.
Над сонной пристанью — одна —
с печальным криком чайка кружится.

И веет тягостным унынием
от берегов крутых Днепра,
где снег на ветки сел с утра
и лебедеет первым инеем.

А тучи темные бугристые
совсем насупились, когда
ушли последние суда,
забыв меня на голой пристани.

1965 г.



Не дождавшись рассвета, ушла ты.
Ты ушла — навсегда или нет?
Скоро-скоро листвою угловатой
клен засыплет знакомый след...

Стрелки к часу идут украдкой.
Встать и вслед ей кричать с крыльца:
— Подожди! Ведь у нас кроватька
беспокойного ждет жильца!..

Дождь осенний журчит уныло.
Ты подходишь к ручью.
Темно.
Ах, забыл я напомнить — перила
у моста обветшали давно.

Вот и будет теперь тревога
до рассвета сводить с ума:
не оступишься ль где дорогой,
перейдешь ли ты мост сама?..

1955 г.



На Азовском море

Виктору Лыкову

Словно в дикой стихии танца,
разгоняя волну за волной,
от Ачуево до Бердянска
ветер мечется, как шальной.

И, зверея, ревет, клокочет
море ярости и беды.
Лишь мартын-хохотун хохочет
над зеленою злобой воды.

Волны тешатся силой грубой.
Но волнам штормовым вопреки --
в море буйное, к черту в зубы
направляются рыбаки.

Эти парни привыкли спорить
с ветром, с качкой, с косым дождем.
Им покорно Азовское море,
им соленая глубь — нипочем...

Пусть баркасы взлетают щепкой
на гривастые гребни валов —
парни верят в удачу крепко
и в еще небывалый улов.

Принесут им добычу сети.
А в награду за смелый труд —
затанцуют на палубе сельди
и серебряной грудой замрут.

1961 г.



Подмосковье багряное,
кленов стынущих шум
и слова твои странные:
«О мани падме хум!..»

Что слова эти значили,
может, грусть о весне?
Но они озадачили.
И запомнились мне.

Как молитву, как исповедь,
я их в сердце берег
среди метелей неистовых,
на десятках дорог...

Нынче нас, будто пропасти,
разделяют года.
«О жемчужина в лотосе!..» —
ты сказала тогда.

Но об этом нечаянно
я недавно узнал.
Бьется сердце отчаянно:
«Опоздал!.. Опоздал!..»

Я прошел не из гордости
мимо зорьки любви.
Ты прости меня в горести
и опять позови.

Где теперь ты — в Монголии,
иль стремишься в Тибет?
Ты любила магнолии —
я храню их тебе.

Ты услышь в моем голосе
всю тоску моих дум,
о жемчужина в лотосе,
о мани падме хум!

1965 г.



1

Для мысли не существенны пространства
и непонятен времени язык.
Далекий Фес, улыбкой марокканца
ты вновь подробно в памяти возник.

Тебя дубят Сахары знойной ветры
и моют солнца щедрые лучи.
Ты — плоскокрыш и бел — лишь минареты
предерзко поднимаешь, как мечи.

Пытливо ты встречаешь нас, туристов,
из русской удивительной страны,
распахиваешь улицы тенисто
и узкие ущелья Медины.

Здесь груды всевозможного товара
и шумный торг с утра и дотемна,
здесь нищета и роскошь ходят парой,
и это все зовется — Медина.

Здесь нам торговцы пылко предлагают
ковры, как грез волшебные миры.
И появилась мысль у нас такая:
увидеть — как их делают, ковры.

2

Идем за гидом в серое строенье,
гараж напоминающее нам,
и в полумраке, напрягая зренья,
оглядываемся по сторонам.

Вдоль стен — станки —
основой замер ветер,
и черные глазенки опустив,
сидят сосредоточенные дети,
которым от пяти — до десяти.

Мы удивились, кажется, вначале:
зачем в детсад тащили нас в жару,
где так серьезно девочки играли
в какую-то серьезную игру.

Но, приглядевшись, мы притихли сразу
от этой затянувшейся игры.
Как отрешенно и однообразно
здесь дети ткали яркие ковры!

Ни любопытства в их глазах, ни слова —
лишь клацающих ножниц разговор,
и серая невзрачная основа
в поющих превращается узор.

Под худенькими нервными руками
то оживают трепетно цветы,
то прихотливо вяжется орнамент,
как вяжутся неясные мечты...

Но в мире этом некуда им деться,
Хоть рядом — город розами пропах,
И девочки, не видевшие детства,
придумывали детство на коврах.

Они его придумывали разным:
то бледных, то насыщенных тонов.
И гневно полыхающие красным,
кричали краски с дорогих панно...

1963 г.



Жене

В саду уже изнемогают ветки
под бременем созревших слив и яблок,
и кажется, порою слышать можно,
как тяжело сгибаются деревья,
держа плоды литые на весу...
Ты повела плечом открытым зябко
и прошептала: «Наступает август...
Ты слышишь, милый, наступает август...»
Да, да, я слышу, как растут отавы,
как отрешенно зацветают астры,
и на мои виски роса ложится...
А высоко над нами, в темном небе,
большие звезды падают неслышно.
Но то не звезды, нет, совсем не звезды,
а жизни нашей дни-метеориты
срываются и гаснут налету.
Они легки, стремительны и ярки,
они познали высоту и скорость
и, отпылав свое, сгорают молча.
А ты мне шепчешь: «Наступает август...»
Конечно, друг мой, наступает август.
Признаем же его неотвратимость
и все его права на нашу жизнь.
Пусть это время зрелости высокой
не надсоновской грустью подступает,
а гимном торжествующим гремит.
Ведь август вечно славится плодами
и звездами, летящими в ночи.

1963 г.



Касабланка, Касабланка,
до чего же ты бела!
Черноглазой марокканкой
ты в мечте моей была.

Ты была далекой далью,
тридевятой синевой.
А сегодня плещут пальмы
над моею головой.

Ты горячая, земная,
не смолкаешь ни на миг.
Жаль, что я не понимаю
твой запальчивый язык.

Вдруг я слышу на базаре,
среди галдящей Медины:
«Карашо!» «Москва!» «Гагарин!» —
мне кричат твои сыны.

И пускай живешь ты, город,
на чужом земли краю,
но отныне стал мне дорог,
вспомнив родину мою...

Касабланка, Касабланка,
ты сияешь белизной
оттого, что океанской
умываешься волной.

1963 г.



Может, год прошел, а может, вечность,
как растаял в небе самолет.
Только до сих пор мне ветер встречный
с тихой грустью по утрам поет.

Даже мысли стали облаками
и летят в твой развесенний край.
Ты лови их теплыми руками
и, как письма, медленно читай.

Ты читай их и не хмурься строго,
отложи на время сотни дел.
Облака тебе, возможно, смогут
рассказать, о чем я не посмел.

И на миг, закрыв глаза рукою,
вспомни осокорь на берегу,
где стою сейчас я над рекою,
а тебя дожидаться не могу...

Желтых листьев слышен смутный трепет,
о тебе грустит моя строка,
и летят над палевою степью
палевые письма-облака.

1963 г.



Года незримо доплывают
до зримой памятью черты,
и время словно размывает
лица знакомые черты.

Уже неясно, как в тумане,
тебя я вижу вдалеке...
Вот по-над морем, из Тамани,
идет девчонка налегке.

На ней платок пылает ало,
к ногам ее спешит волна...
И вздрогнул я: так повторяла
собой облик твой она!

В тот миг забыл я, что такую
была ты двадцать лет назад,
что надо мною и тобою
отцвел черешнями наш сад...

Ушла девчонка, скрыли дали
ее пылающий платок,
и волны медленно стирали
следы босых и легких ног.

1964 г.

9

(Из П. Ребро)

В садах станичных снова соловьи
солируют в большом концерте лета.
Но углубясь в раздумия свои,
про тех певцов забыл он до рассвета.

А утром скажет: «Птахи, я не мог
послушать вас. Простите, если можно.
Исчеркивая за листком листок,
я слушал сердца шепот осторожный...»

Из трубки дым клубится, как туман,
садится на усы белесой тенью.
Где в этот миг корабль твой, капитан,
стремительный корабль воображенья?

Вот твой тоннаж. Стоит за томом том.
Любой из них — на сердце ряд отметин.
И, кажется, герои за окном
собираются, как добрые соседи.

Гутарят казаки о том, о сем,
уверены, что скоро ты попросишь
их в книги новые, как в новый дом.
А сколько книг еще в себе ты носишь!..

Ночь отошла, и ранний луч в окно
глядит и что-то на страницах пишет.
А тихий Дон не шевельнет волной,
хоть шум его на всей планете слышен!



Осенних яблонь возгорание,
отавы буйство и дожди.
Об этом я не знал заранее,—
я б лету крикнул:
«Подожди!..»

И задержал бы на мгновение
крутое солнце в небесах,
вернул бы иволгам их пение
и прочим птицам — голоса.

Я, может быть, успел бы многое.
Но ничего я не успел,
и восковые листья трогаю,
что ветер с вечера отпел.

Когда же начали вы стариться,
в какой из дней и в час какой?
Когда коснулась осень-старица
вас холодеющей рукой?

Мне дать ответа вы не сможете,
да и зачем он мне, ответ?
Я знаю, вами столько прожито,
как мной,— почти за сорок лет.

Но это что — начало осени
иль зноем пышущий июль?
!Тора несметных всходов озими
иль, может статься, спелых дуль?

Не жди, сентябрь, моей усталости.
Пусть голова моя, как дым:

не сдамся я покойной старости —
в стихах останусь молодым!

Я задержу весны мгновения,
птиц поселю в густых лесах
и возвращу им вдохновение
и золотые голоса.

1966 г.



Как Млечный Путь, размывчаты,
апрельские сады
в ночной тиши отзывчивой
примолкли у воды.

А тулка-хороводница
выводит в полутьму:
«Гора с горой не сходится —
им это ни к чему...»

Я песню сердцем слушаю,
и в сердце входит боль...
Под белой-белой грушею
стояли мы с тобой

и вслух мечтали, помнится,
о свадьбе через год.
Но время, словно конница,
помчало нас вперед.

Катились будни, праздники,
как шапки курая.
А мы путями разными
шли в разные края.

И вот уже венчается
двадцатая весна.
Разлука не кончается,
и встреча не видна.

А тулка-хороводница
выводит в полутьму:
«Гора с горой не сходится —
им это ни к чему...»

1966 г.



Степь и степь...
Дерева отстоянный запах
да ветров азиатских
звереющий храп.
Одинокие глыбы
каменных баб,
как медведицы встали
на задние лапы.
Здесь еще не забыли
курганы седые,
как копытами острыми
мяла траву
полуразжужавшая конница
хана Батыя
перед тем, как набег
совершить на Москву.
Здесь гудела земля,
словно бубен шамана,
под ногами татарских
мохнатых коней.
Но орда пронеслась
по земле ураганом,
и опять только зной,
только свист ковылей.
В край из края
с отарами ходят калмыки,
ветер Азии дует,
горяч и свиреп.
Здесь походом шел Петр
(еще не был Великим),
расстилалась до Каспия
дикая степь.

Степь и степь...
 Тут земля податлива на ласку.
 По весне напьется талых вод
 И на сотни верст
 степи кавказской
 травами веселыми цветет.
 Только весны коротки здесь очень.
 Солнце, что ни день, то горячей.
 Вот уже с востока, зол и точен,
 налетает первый суховея.
 Он промчится огненным бураном
 по степной былинной стороне —
 и одни пруты золотургана
 остаются в память о весне...
 Над равниной голой ветры грубо
 горечью полынною пылят,
 как пересыхающие губы,
 трескается серая земля.
 И по ней, морщинистой и старой,
 по бескрайней выжженной беде,
 головы пригнув,
 бредут отары
 через версты длинные к воде.

Степь и степь...
 От пыли небо мглисто.
 Солнце медно-красное — в упор.
 Нелегко идти геодезистам
 суховеям злым наперекор.
 Горизонт — и даль за далью снова.
 А ботинки, словно из свинца.
 И степи, в прямом значенье слова,
 не видать ни края, ни конца.
 В зной крутой
 (пуста баклага в ранце)
 у ветров прогорклых на виду,
 школьники вчерашние, упрямы,
 милые романтики идут.
 Пыль и ветер склеивают веки.

Пыль и ветер — миражи во мгле.
Но встают в степи горячей вежи —
след людей на жаждущей земле.
Ждет она, пропахшая полынью;
потечет студеная вода,
и тогда напьется край пустынный
и хлебами запоет тогда.
Станет сказка солнечною билью,
в степь уйдут бригады тополей,
и навеки обломает крылья
о стволы деревьев сухостей...
А пока от пыли небо мглисто.
Солнце медно-красное — в упор.
Но идут вперед геодезисты
суховеям злым наперекор.

4

Стройки начинаются с палаток,
вечера бивачные — с костров...
Месяц, соблюдая распорядок,
вышел не спеша из-за бугров.
Вышел месяц молодой да ранний,
над землей холодный свет простер,
обнимая призрачным сияньем
ночи остывающей простор...
От костров летят лениво искры.
Наступает царство тишины.
Крепко спят в степи бульдозеристы,
видят экскаваторщики сны.
Как жираф, вытягивая шею,
экскаватор месяц достает.
Падают в зубастый ковш и тлеют
звезды, оголяя небосвод.
А на утро в грунт сухой и твердый,
гулом будоража край степной,
экскаватор ткнет сердито мордой
и вгрызется челюстью стальной,
и пойдет без отдыха и срока
клеклых глин выбрасывать пуды,
оставляя следом ров широкий —
верную дорогу для воды...

День за днем по взгорьям и лощинам
канонада мирная гремит:
где не в силах справиться машина —
там ее сменяет динамит.

5

Человек поднялся на пригорок
и окинул взглядом целину.
Он сегодня на степном просторе
слушает влюбленно тишину.
Всюду смолкли взрывы аммонала,
загорелых парней голоса,
и плывут, качаясь, по каналу
голубою лентой небеса.
Степь спокойно дышит
вольной грудью,
вековую жажду утолив.
Только люди...
Дальше едут люди!
Впереди — рассветных зорь разлив,
впереди — края необжитые,
где ветра безжалостно пылят,
где сгорают ковыли седые
и гудит каленая земля.
Едут люди беспокойной жизни
на великий подвиг трудовой.
Им в дороге светит мать Отчизна,
солнца шар
неся над головой.

1958—1961 гг.



Пусть рушится небо и хлещет дождем,
пусть ветры со всех сторон —
дорога работает.
Ночью и днем
глухо гудит гудрон.

Дороге и холод, и зной — нипочем,
а скука и лень — незнакомы.
Крутые холмы раздвигая плечом,
стремится она к окоему.

Нарядные «Волги», чумазые «МАЗы»,
моторов натруженный гуд
и версты, почти незаметно для глаза,
навстречу бегут и бегут.

Движенье, движенье — здесь вечно оно.
Люблю я дорогу, как жизнь, —
чтоб ветер крылом трепыхал за спиной
и дико свистел:
держись!..

Далекие фары холодным огнем
уперлись на миг в горизонт...
Дорога работает.
Ночью и днем
глухо гудит гудрон.

1963 г.

«Знакомы мне таврические степи...»	3
--	---

СУРОВАЯ ПАМЯТЬ

Мать	7
Апрель	8
Горстка пшеницы	14
Суровая память	15
Я видел дуб...	17
Земля	19
Голос из шахт (с французского)	23
Не гаснет огонек	25
Топот конницы	27
География	29
Могила врага	31
Вдовин колодец	32
Село в степи	34
Чтоб слышать спасибо	42
Памятник	44
Андреев	46
Солдаты шли...	54

ПЕВУЧИЕ ТРАВЫ

Никто не знает...	57
Чудо	58
Поющая степь	59
Ставрополье	61
Луговая музыка	62
Родина	63
Садовник	64
Под грушей	65
Май на Ставрополье	66
Ветерок-бродяга	67
Рыбаки	68
Утром	69
Дождь	70
Звенят колосья	71

Калиновка	72
Гуляет осень	73
Концерт	74
Ночью в степи	75
Игнат Песков	76
Борщ	78
Окоем	80
Осенняя баллада	87
Моя речка	89
Вышки в степи	90
Терновский мост	91
Травы	93
Я вскочу в седло	94
Кубань	95
До весны далеко...	96
Поэма про гармонию	97

ДОРОГИ

Приглашение	109
Я ходил по земле...	111
Дед-Мороз	113
Первым целинникам	114
Капля (с осетинского)	115
Заря в ведрах	116
Камень	117
Птенец	118
Желтые гвоздики	119
Кони	120
Последние суда	121
Ты ушла	122
На Азовском море	123
О мани падме хум	124
Ковры	126
Августовские звезды	128
Касабланка	129
Облака	130
Девчонка	131
Шолохов (с украинского)	132
В начале осени	133
Гора с горой...	135
Голубая трасса	137
Дорога	141